P4 4/187.

Р44
187

П. О. АФАНАСЬЕВ, Н. Л. БРОДСКИЙ, Н. П. СИДОРОВ

РОДНОЙ ЯЗЫК
ВО ВТОРОЙ СТУПЕНИ

Р47

ШЕСТАЯ ГРУППА

РАБОЧАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ, ТЕМЫ

ДОПУЩЕНО
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА

«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
МОСКВА — 1927

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ".
МОСКВА, 19. Воздвиженка, 10.

САМ СЕБЕ МАСТЕР.
(Прикладная наука и техника.)

Под редакцией А. У. Зеленко.

Серия книг, сообщающих практические сведения по применению всевозможных технических навыков, нужных в общественном, школьном и домашнем быту.

В отдельных проектах по изготовлению разных предметов и моделей указывается: точное задание, порядок исполнения, учет работы, полезная рецептура и литература.

В программу серии входит практическое изучение технических навыков и сведений, включенных в программу школ I ступени и семилетки.

СОДЕРЖАНИЕ:

I отдел—ФИЗИКА и МЕХАНИКА В БЫТУ.
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ

1. Фото-аппарат. 2. Телефон. 3. Микрофон. 4. Радиоприемник. 5. Граммофон. 6. Мотор. 7. Динамо. 8. Ветряной двигатель. 9. Водяные двигатели. 10. Измерительные электрические приборы. 11. Весы. 12. Телескоп. 13. Проекционный фонарь. 14. Отражательный фонарь. 15. Пантограф. 16. Выпрямитель. 17. Стереоскоп. 18. Стробоскоп. 19. Вольтову дугу, патроны, штепселя и выключатели. 20. Беспроволочный телеграф. 21. Аппарат Морзе. 22. Насосы водяные. 23. Термос. 24. Метеорологическую станцию. 25. Электрофорную машину. 26. Камеру-обскуру. 27. Нагревательные приборы. 28. Реостат. 29. Механические игрушки. 30. Угломерные инструменты. 31. Фильтры (как очистить воду). 32. Паровую машину. 33. Электрический звонок.

II отдел—ХИМИЯ В БЫТУ.
КАК САМОМУ ПРИГОТОВИТЬ

1. Скрепляющие вещества (изготовление растительных и минеральных клеев). 2. Термит и сварку металлов. 3. Краски. 4. Колесную мазь и мази для обуви. 5. Патоку и крахмал (брожение углекислое, спиртовое и уксусное). 6. Керамические изделия. 7. Эфирные масла. 8. Минеральные краски. 9. Удобрения, очистку и улучшение зерна. 10. Хозяйственные составы для чистки тканей, металла, посуды и т. п. 11. Элементы, аккумуляторы.

КАК САМОМУ

1. Сохранять пищевые продукты. 2. Бороться с вредителями. 3. Предохранять дерево от гниения (лакировка и морение). 4. Бороться с пожарами (огнетушители и несгораемые постройки). 5. Собирать и обрабатывать лекарственные и технические растения. 6. Резать стекла и металлы. 7. Научиться печатать. (Полиграфич. работы.)

III отдел—ИСКУССТВО В БЫТУ.

В этом разделе будут помещены проекты, выполнение которых поможет приобрести навыки: 1) в домашнем быту—по шитью, вышиванию или украшению одежды, головных уборов, изготовлению игрушек, ковров и пр., 2) в общественном быту—по изготовлению плакатов, вывесок, диаграмм, схем, оборудованию красных уголков, выставок, по оформлению стенгазеты, спектакля, по декорированию помещения и проч.

IV отдел—ДОМОВОДСТВО.

V отдел—СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Около 60 выпусков. 1800 страниц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: с пересылкой и упаковкой 8 рублей.

ДОПУСКАЕТСЯ РАССРОЧКА: при подписке—3 руб., к 1 мая—3 руб. и 1 сентября—2 рубля. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВСЕ ИЗДАНИЕ.

П. О. АФАНАСЬЕВ, Н. Л. БРОДСКИЙ, Н. П. СИДОРОВ

РОДНОЙ ЯЗЫК

ВО ВТОРОЙ СТУПЕНИ

ШЕСТАЯ ГРУППА

РАБОЧАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ, ТЕМЫ

ДОПУЩЕНО
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА

(1—25-я ТЫСЯЧА).

„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
МОСКВА — 1927

6504 ✓
28-VII-1927 М

Главлит № 87097. Тираж 60.000 — 20 л. Заказ № 952.

Государственная типография имени Евг. Соколовой, проспект Красных Командиров, 29.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Так же, как и хрестоматия наша для 5-го года обучения, предлагаемое пособие для 6-го года представляет из себя рабочую хрестоматию с вопросами для проработки материала, заданиями и темами. Сравнительно с предыдущим выпуском здесь несколько усложнены и вопросы и задания, с одной стороны, тем, что учащимся даются планы для самостоятельной разработки тем на основе изученного материала (наш город, проработка былин, биография писателя и некоторые другие задания), а с другой стороны, учащиеся подводятся к некоторым выводам по вопросам поэтики (проработка понятия о типе, различие между поэтическими и прозаическими произведения и и некоторые др.).

Принципы, которыми руководствовались составители как в отношении подбора произведений, так и разработки их, остаются теми же, какие указаны в предисловии к книге для V группы, и так же, как при составлении ее, авторы пользовались, как ориентировочным материалом, новым проектом программ ГУС'а и программами Моно с коррективами к ним („Вестник Просвещения", 1926 г., № 10).

В качестве основной темы, обусловившей подбор и разработку произведений для данного года обучения, взята тема о городе, его социальной жизни в прошлом и настоящем. Эта основная тема распадается на следующие отделы:

I. Город (его жизнь в прошлом и лицо города в настоящем).

II. Труд, быт, борьба: в разделе „А" даны произведения, рисующие быт с его социальными противоречиями на почве капитализма и вырастающего пролетариата, а в разделе „Б" сгруппированы произведения, развертывающие мотивы борьбы за освобождение труда.

Москва.
1 января 1927 г.

П. Афанасьев.
Н. Бродский.
Н. Сидоров.

I

ГОРОД

1. Садко богатый гость[1].

1.

Во славноем во Нове-граде
Как был Садко купец, богатый гость.
А прежде у Садка имущества не было:
Одни были гуселки яровчаты;
По пирам ходил-играл Садко.
Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир.
По том Садко соскучился:
Как пошел Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел горюч камень
И начал играть в гуселки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася.
Тут-то Садко перепался,
Пошел прочь от озера во свой во Новгород.
Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир.
По том Садко соскучился:
Как пошел Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел горюч камень
И начал играть во гуселки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася.
Тут-то Садко перепался,
Пошел прочь от озера во свой во Новгород.
Садка день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир.
По том Садко соскучился:
Как пошел Садко к Ильмень-озеру,
Садился на бел горюч камень
И начал играть в гуселки яровчаты.
Как тут-то в озере вода всколыбалася,
Показался царь морской,
Вышел со Ильменя со озера,
Сам говорил таковы слова:
— Ай же ты, Садко Новгородскиий!
Не знаю, чем буде тебя пожаловать
За твои за утехи за великие,
За твою-то игру нежную:
Аль бессчетной золотой казной?
А не то ступай в Новгород
И ударь о велик заклад,
Заложи свою буйну голову,
И выряжай с прочих купцов

---

[1] В основе былины о Садке лежит песня об историческом лице. В Новгородских и Псковской летописях встречается Съдко Сытинець (вариант: Сотко Сытиничь), как строитель каменной церкви в Новгороде в 1167 г. (в XII в. каменные церкви, да еще созданные частными лицами, были большой редкостью). В Софийском Временнике имени Сотко придан тот же эпитет, что и в былине: богатой. Летописные известия не называют Садка торговым гостем, но можно думать, что, подобно другим новгородским богачам, Сотко нажил богатство путем торговли.

Лавки товара красного,
И спорь, что в Ильмень-озере
Есть рыба — золоты перья.
Как ударишь о велик заклад,
И поди, свяжи шелковой невод,
И приезжай ловить в Ильмень-
озеро:
Дам три рыбины — золоты перья.
Тогда ты, Садко, счастлив
будешь[1]. —
Пошел Садко от Ильменя от
озера,
Как приходил Садко во свой во
Новгород,
Позвали Садко на почестен пир.
Как тут Садко Новгородскиий
Стал играть в гуселки яровчаты;
Как тут стали Садко попаивать,
Стали Садку поднашивать,
Как тут-то Садко стал
похвастывать:
„Ай же вы, купцы новгородские!
Как знаю чудо чудное в Ильмень-
озере:
А есть рыба — золоты перья
в Ильмень-озере".
Как тут-то купцы новгородские
Говорят ему таковы слова:
— Не знаешь ты чуда чудного,
Не может быть в Ильмень-озере
рыбы — золоты перья. —
„Ай же вы, купцы новгородские!
О чем же бьете со мной о велик
заклад?
Ударим-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товара
красного".

Три купца повыкинулись,
Заложили по три лавки товара
красного.
Как тут-то связали невод
шелковый
И поехали ловить в Ильмень-
озеро.
Закинули тоньку в Ильмень-озеро,
Добыли рыбку — золоты перья;
Закинули другую тоньку
в Ильмень-озеро,
Добыли другую рыбку — золоты
перья;
Третья закинули тоньку в Ильмень
озеро,
Добыли третью рыбку — золоты
перья.
Тут купцы новогородские
Отдали по три лавки товару
красного.
Стал Садко поторговывать,
Стал получать барыши великие.
Во своих палатах белокаменных
Устроил Садко все по-небесному:
На небе солнце — и в палатах
солнце;
На небе месяц — и в палатах
месяц;
На небе звезды — и в палатах
звезды.

Потом Садко купец, богатый
гость,
Зазвал к себе на почестен пир
Тыих мужиков новгородскиих
И тыих настоятелей
новогородскиих —
Фому Назарьева и Луку Зиновьева.

---

[1] Вариант: Садко гулял по Волге двенадцать лет и никакой над собой „притки" (лихой встречи) и скорби не видывал.

Захотелось молодцу побывать в Нове-городе,
Отрезал хлеба великой сукрой,
А и солью насолил, его в Волгу опустил:
„А спасибо тебе, матушка Волга река!"

Волга послала с Садком поклон своему брату, озеру Ильменю, который, в благодарность, и наделил Садка богатством: велел ему закинуть три невода в озеро, и Садко вытянул множество разной рыбы, которая обратилась потом в золотые, серебряные и „дробные" деньги.

Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Иной хвастает бессчетной золотой казной,
Другой хвастает силой-удачей молодецкою,
Который хвастает добрым конем,
Который хвастает славным отечеством,
Славным отечеством, молодым молодечеством,
Умный хвастает старым батюшком,
Безумный хвастает молодой женой.
Говорят настоятели новогородские:
— Все мы на пиру наедалися,
Все на почестном напивалися,
Похвальбами все похвалялися.
Что же у нас Садко ничем не похвастает,
Что у нас Садко ничем не похваляется? —
Говорит Садко купец, богатый гость:
„А чем мне, Садку, хвастаться,
Чем мне, Садку, похвалятися?
У меня ль золота казна не тощится,
Цветно платьице не носится,
Дружина хоробра не изменяется.
А похвастать не похвастать бессчетной золотой казной:
На свою бессчетну золоту казну
Повыкуплю товары новогородские,
Худые товары и добрые!“
Не успел он слова вымолвить,
Как настоятели новгородские
Ударили о велик заклад,
О бессчетной золотой казны,
О денежках тридцати тысячах:
Как повыкупить Садку товары новогородские,
Худые товары и добрые,
Чтоб в Нове-граде товаров в продаже боле не было.

Ставал Садко другой день раны́м рано́,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счета давал золотой казны
И распущал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шел в гостиный ряд,
Как повыкупил товары новогородские,
Худые товары и добрые
На свою бессчетну золоту казну.
На другой день ставал Садко раны́м рано́,
Будил свою дружину хоробрую,
Без счета давал золотой казны
И распущал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шел в гостиный ряд:
Вдвойне товаров принавезено,
Вдвойне товаров принаполнено
На тую на славу на великую новогородскую.
Опять выкупал товары новогородские,
Худые товары и добрые
На свою бессчетну золоту казну.
На третий день ставал Садко раны́м рано́,
Будил свою дружину хоробрую,
Бес счета давал золотой казны
И распущал дружину по улицам торговыим,
А сам-то прямо шел в гостиный ряд:
Втройне товаров принавезено,
Втройне товаров принаполнено.
Подоспели товары московские
На ту на великую на славу новогородскую.
Как тут Садко пораздумался:
„Не выкупить товара со всего бела света:
Още повыкуплю товары московские,
Подоспеют товары заморские.

Не я, видно, купец, богат
новогородскиий, —
Побогаче меня славный
Новгород".
Отдавал он настоятелям
новгородскиим
Денежек он тридцать тысячей[1].

2.

Как по морю, морю по синему,
Бегут, побегут тридцать кораблей,
Тридцать кораблей, един сокол
корабль
Самого Садки, гостя богатого[2].
А все корабли, что соколы летят,
Сокол корабль на море стоит;
Говорит Садко купец, богатой
гость:
„А ярыжки вы, люди наемные,
А наемные люди, подначальные!
А в место все вы собирайтеся,
А и режьте жеребья вы волжены[3],
А и всяк-то пиши на имена,
И бросайте вы их на сине море".
Садко покинул хмелево перо,
И на нем-то подпись подписана,
А и сам Садко приговаривает:
„А ярыжки, люди вы наемные!
А слушай речи праведных:
А бросим мы их на сине море,
Которые бы по верху плывут,
А и те бы душеньки правые;
Что которые-то в море тонут,
А мы тех спихнем во сине море",
А все жеребья по верху плывут,
Кабы яры гоголи по заводям;
Един жеребий во море тонет,
Во море тонет хмелево перо
Самого Садки, гостя богатого.
Говорил Садко купец, богатой
гость:
„Вы, ярыжки, люди наемные,
А наемные люди, подначальные!
А вы режьте жеребья ветляные,
А пишите всяк себе на имена,
А и сами к ним приговаривай:
А которы жеребьи во море
тонут,
А и то бы душеньки правые".
А и Садко покинул жеребий
булатной,

---

[1] По другому варианту, Садко в первый день „выкупил" все товары в Новгороде, „не оставил товару ни на денежку, ни на малу разну полушечку"; так же было на второй и на третий день, когда Садко скупил все товары „заморские". Четвертый день Садко ходил по Новгороду, но нигде не нашел товару. Тогда он пошел в „темный ряд", где стояли „черепаны, гнилые горшки, а все горшки уже битые". Садко скупает и эти горшки:

„Пригодятся — ребятам черепками играть,
„Поминать Садку, гостя богатого!
„Что не я, Садко, богат — богат Новгород
„Всякими товарами заморскими
„И теми черепанами, гнилые горшки".

[2] У некоторых сказателей обе былины соединяются в одну. Садко, отдавши проигранный им залог, снаряжает корабли, валит на них „товары новгородские" и едет торговать за море:

А поехал он да по Волхову,
Ай со Волхова он во Ладожско,
А со Ладожского выплывал да во Неву - реку,
Ай как со Невы-реки как выехал на сине море...
(Гильфердинг, т. I, 550. Сорокин.)

Уже на обратном пути, когда он распродал все товары новгородские, получив „барыши великие", наполнил бочки сороковки красным золотом, чистым серебром и крупным скатным жемчугом, на море случилось то, о чем рассказывает наша былина.

[3] Сделанный из прута таволги, т.-е. ивы.

Синего булату ведь заморского,
Весом-то жеребий в десять пуд.
И все жеребьи во море тонут,
Един жеребий по верху плывет
Самого Садки, гостя богатого.
Говорит тут Садко купец, богатой гость:
„Вы, ярыжки, люди наемные,
А наемные люди, подначальные!
Я сам, Садко, знаю, ведаю,
Бегаю по морю двенадцать лет,
Тому царю заморскому
Не платил я дани, пошлины,
И во то сине море Хвалынское
Хлеба с солью не опускивал,
По меня, Садку, смерть пришла.
И вы, купцы, гости богатые,
А вы, целовальники любимые,
А и все приказчики хорошие,
Принесите шубу соболиную".
И скоро Садко наряжается,
Берет он гусли звончаты
Со хороши струны золоты,
И берет он шахматницу дорогу
Со золоты тавлеями,
Со теми дороги вальящаты.
И спущали сходню ведь серебряну
Под красным золотом;
Походил Садко купец, богатой гость,
Спущался он на сине море,
Садился на шахматницу золоту;
А и ярыжки, люди наемные,
А наемные люди, подначальные
Утащили сходню серебряну,
И серебряну под красным золотом,
Ее на сокол-корабль,
А Садко остался на синем море,
А сокол-корабль по морю пошел.
А все корабли, как соколы летят,
А един корабль по морю бежит,
Как бел кречет,
Самого Садки, гостя богатого.
Отца, матери молитвы великие,
Самого Садки, гостя богатого;
Подымалася погода тихая,
Понесло Садку, гостя богатого,
Не видал Садко купец, богатой гость,
Ни горы, ни берегу,
Понесло его, Садку, к берегу,
Он и сам, Садко, туто дивуется.
Выходил Садко на круты береги,
Пошел Садко подле синя моря,
Нашел он избу великую,
А избу великую во все дерево,
Нашел он двери — и в избу пошел.
И лежит на лавке царь морской:
„А и гой еси ты, купец, богатой гость!
А что душа радела, того бог мне дал,
И ждал Садку двенадцать лет,
А ныне Садко головой пришел;
Поиграй, Садко, в гусли ты звончаты".
И стал Садко царя тешити,
Заиграл Садко в гусли звончаты;
А и царь морской зачал скакать, зачал плясать —
И того Садку, гостя богатого,
Напоил питьями разными.
Напивался Садко питьями разными,
И развалялся Садко и пьян он стал,
И уснул Садко купец, богатой гость;
А во сне пришел святитель Николай к нему,
Говорит ему таковы речи:
„Гой еси, ты, Садко купец, богатой гость!
А рви ты свои струны золоты,
И бросай ты гусли звончаты,
Расплясался у тебя царь морской:
А сине море всколебалося,
А и быстры реки разливалися,
Топят много бусы, корабли,
Топят души напрасные
Того народу православного".
А и тут Садко купец, богатой гость,
Изорвал он струны золоты,

И бросает гусли звончаты;
Перестал царь морской скакать и плясать:
Утихло море синее,
Утихли реки быстрые.
А поутру стал тут царь морской,
Он стал Садку уговаривать —
А и хочет царь Садку женить,
И привел ему тридцать девиц.
Никола ему во сне наказывал:
„Гой еси ты, купец, богатой гость!
А станет тебя женить царь морской,
Приведет он тридцать девиц;
Не бери ты из них хорошие, белые, румяные,
Возьми ты девушку поваренную,
Поваренную, что котора хуже всех".
А и тут Садко купец, богатой гость,
Он думался, не продумался.
И берет он девушку поваренную,
А котора девушка похуже всех...
Ото сна Садко пробуждался,
Он очутился под Новым городом,
А левая нога во Волх-реке.

И скочил Садко, испужался он,
Взглянул Садко он на Новгород,
Узнал он церкву, приход свой,
Того Николу Можайского,
Перекрестился крестом своим.
И глядит Садко по Волх-реке,—
От того синя моря Хвалынского,
По славной матушке Волх-реке,
Бегут, побегут тридцать кораблей,
Един корабль самого Садки, гостя богатого.
И встречает Садко купец, богатой гость,
Целовальников любимых.
Все корабли на пристань стали,
Сходни метали на крутой берег,
И вышли целовальники на крутой берег;
И тут Садко поклоняется:
„Здравствуйте, мои целовальники любимые
И приказчики хорошие!"
И тут Садко купец, богатой гость,
Со всех кораблей в таможню положил
Казны своей сорок тысячей —
По три дни не осматривали.

---

1. Составьте конспект содержания былин о Садко.
2. Представителем какого класса является Садко?
3. Расскажите историю его обогащения.
4. Отметьте в былинах черты промысловой и торговой жизни Новгорода.
5. Как обрисован город в былинах? (внешний вид, население, быт).
6. Рассмотрите сцену борьбы Садко с купцами, как проявление внутренней торговой конкуренции. (Прочтите у Мельникова-Печерского „На горах", ч. III, гл. шестая — о борьбе рыбопромышленников и сопоставьте с былинным сказом. В чем отличительные особенности былинного повествования?)
7. Какие бытовые черты торгово-промышленной жизни можно вскрыть в сказочных эпизодах былин?
8. Для какой социальной среды слагали эти былины старинные певцы?
9. Как объяснить, что героем этих былин является гусляр?
10. Пользуясь данными былинного текста, начертите географический путь следования торговых караванов Великого Новгорода.

---

2. Василий Буслаев.

В славном великом Новеграде,
А и жил Буслай [1] до девяноста лет;
С Новым-городом жил, не перечился,
Со мужики новогородскими
Поперек словечка не говаривал [2].
Живучи Буслай состарелся,
Состарелся и переставился.
После его веку долгого
Оставалося его житье-бытье
И все имение дворянское;
Осталася матера вдова,
Матера Мамелфа Тимофеевна,
И оставалося чадо милое
Молодой сын Василий Буслаевич.
Будет Васенька семи годов,
Отдавала матушка родимая,
Матера вдова Мамелфа Тимофеевна,
Учить его во грамоте,—
И грамота ему в наук пошла;
Присадила пером его писать,—
Письмо Василью в наук пошло;
Отдавала петью учить церковному,—
Петье Василью в наук пошло,
А и нет у нас такова певца,
Во славном Новегороде,
Сопротив Василья Буслаева.
Поводился ведь Васька Буслаевич
Со пьяницы с безумницы,
С веселыми, удалыми добрыми молодцы,
До-пьяна уж стал напиватися,
А и ходя в городе уродует:
Которого возьмет он за руку,
Из плеча тому руку выдернет;
Которого заденет за ногу,
Тому Васька ногу выломит;
Которого хватит поперек хребта,
Тот кричит, ревет, окарач ползет.
Пошла-то жалоба великая;
А и мужики новогородские,
Посадские, богатые,
Приносили жалобу они великую
Матерой вдове Мамелфе Тимофеевне
На того на Василья Буслаева;
А и мать-то стала его журить-бранить,
Журить-бранить, его на ум учить.
Журьба Ваське не взлюбилася,
Пошел он, Васька, во высок терем,
Садился Васька на ременчатой стул,
Писал ярлыки скорописчаты,
От мудрости слово поставлено:
„Кто хощет пить и есть из готового,
Валися к Ваське на широкой двор,
Тот пей и ешь готовое
И носи платье разноцветное".
Рассылал те ярлыки со слугой своим
На те улицы широкие
И на те частые переулочки;
В то же время поставил Васька чан середи двора,
Наливал чан полон зелена вина,
Опущал он чару в полтора ведра.
Во славном было во Новеграде
Грамотны люди шли,
Прочитали те ярлыки скорописчаты,

---

[1] Мы знаем в XIII в. новгородского боярина Богуслава. 1-я Псковская летопись под 1500 годом говорит о посаднике Фоме Буславиче.

[2] Буслай знал, что без такого уменья легко было накликать на себя беду немалую. Через всю историю Новгорода проходит бобьба общественных классов — борьба, вызывавшая иногда усобицы, которые сопровождались убийствами и грабежами.

Пошли ко Ваське на широкой двор,
К тому чану, к зелену вину;
В начале был Костя Новоторженин,
Пришел он, Костя, на широкой двор,
Василий тут его опробовал,
Стал его бити червленым вязом,
В половине было налито
Тяжела свинцу чебурацкого,
Весом тот вяз был во двенадцать пуд;
А бьет он Костю по буйной голове,
Стоит тут Костя, не шевельнется,
И на буйной голове кудри не тряхнутся.
Говорил Василий, сын Буслаевич:
„Гой еси ты, Костя Новоторженин!
А и будь ты мне названой брат
И паче мне брата родимого".
А и мало время позамешкавши,
Пришли два брата боярченка,
Лука и Моисей, дети боярские,
Пришли ко Ваське на широкой двор;
Молодой Василий, сын Буслаевич,
Тем молодцам стал радошен и веселешенек.
Пришли тут мужики Залешена:
И не смел Василий показатися к ним.
Еще тут пришло семь братов Сбродовичи—
Собиралися, сходилися
Тридцать молодцов без единого,
Он сам, Василий, тридцатой стал;
Какой зайдет, убьют его,
Убьют его, за ворота бросят [1].
Послышал Васенька Буслаевич,
У мужиков новгородскиих
Канун варен [2], пива ячные;
Пошел Василий со дружиною,
Пришел во братчину в Никольщину [3];
А и зачали они тут канун варен пить,
А и те-то пива ячные.
Молодой Василий сын Буслаевич
Бросился на царев кабак
Со своею дружиною хороброю;
Напилися они туто зелена вина
И пришли во братчину в Никольщину.
А и будет день ко вечеру,
От малого до старого,
Начали уж ребята боротися,
А в ином кругу в кулаки битися;
От тое борьбы от ребячия,
От того бою от кулачного

---

[1] Таких новгородских братьев-наймитов мы знаем по свидетельствам историческим, говорящим о том, что борющиеся стороны нанимали „на то злое дело... сбродней, пьянчивых и кровопролитных человек, и бои замышляют и крови пролития и души христианские губят".

[2] Канун варить — варить мед и пиво к празднику.

[3] Братчины — явление общерусское, но более устойчивую организацию и большую самостоятельность эти праздничные собрания получили именно в Новгороде и других городах, обладавших более развитыми формами общественного быта. Братчина имела право суда над своими членами, на что указывает Псковская судная грамота XV века: „А братчина судит, как судия". Любопытные указания на самостоятельность братчин находим между прочим в одной грамоте: „А на пиры и на братчины... незван не ездит никто: кто приедет к ним на пир и на братчины незван, и они того вышлют вон беспенно (т.-е. не платя за это денежной пени); а кто у них станет пить силою, и случится у них тут какая-нибудь гибель, то ему платить вдвое без суда и без исправы".

Началася драка великая;
Молодой Василий стал драку разнимать,
А иной дурак зашел с носка,
Его по уху оплел;
А и тут Василий закричал громким голосом:
„Гой еси ты, Костя Новоторженин,
И Лука, Моисей, дети боярские!
Уже, Ваську, меня бьют".
Поскакали удалы добры молодцы,
Скоро они улицу очистили,
Прибили уже много до смерти,
Вдвое, втрое перековеркали,
Руки, ноги переломали,—
Кричат, ревут мужики посадские.
Говорит тут Василий Буслаевич:
„Гой еси вы, мужики новогородские!
Бьюсь с вами о велик заклад,
Напущаюсь я на весь Новгород
Битися, дратися,
Со всею дружиною хороброю;
Тако вы меня с дружиною побьете Новым городом,
Буду вам платить дани, выходы по смерть свою,
На всякой год по три тысячи;
А буде же я вас побью,
И вы мне покоритеся,
То вам платить мне такову же дань".
И в том-то договоре руки они подписали.
Началась у них драка-бой великая,
А мужики новгородские,
И все купцы богатые,
Все они вместе сходилися,
На млада Васютку напущалися;
И дерутся они день до вечера,—
Молодой Василий, сын Буслаевич,
Со своею дружиною хороброю,
Прибили они во Новегороде,
Прибили они уже много до смерти;
А и мужички новгородские догадалися
Пошли они с дороги подарками
К матерой вдове Мамелфе Тимофеевне.
„Матера вдова Мамелфа Тимофеевна!
Прими у нас дороги подарочки,
Уйми свое чадо милое,
Василья Буслаевича".
Матера вдова Мамелфа Тимофеевна
Принимала у них дороги подарочки,
Посылала девушку чернавушку
По того Василья Буслаева.
Прибежала девушка чернавушка,
Схватила Ваську во белы руки,
Потащила к матушке родимыя,
Притащила Ваську на широкой двор;
А и та старуха неразмышлена
Посадила в погреба глубокие
Молода Василья Буслаева,
Затворяла дверьми железными,
Запирала замки булатными.
А его дружина хоробрая
Со теми мужики новгородскими
Дерутся, бьются день до вечера;
А и та-то девушка чернавушка
На Волх-реку ходила по-воду,
А взмолятся ей тут добры молодцы:
„Гой еси ты, девушка чернавушка!
Не подай нас у дела ратного,
У того часу смертного".
И тут девушка чернавушка
Бросала она ведро кленовое,
Брала коромысло кипарисово,
Коромыслом тем стала она помахивати [1]

---

[1] Во 2-й Новгородской летописи, при описании усобицы 1418 г., встречаем, между прочим, следующую подробность: „Было и то дивно... жена некая, отвергши женскую немощь, вземше мужскую крепость, выскочив же посреди сонмища, дасть Даниле раны, укоряющи его, яко неистова глаголющи, яко обидима есми имь".

По тем мужикам
новогородскиим,—
Прибила уж много до смерти,
И тут девка запыхалася,
Побежала ко Василью Буслаеву,
Срывала замки булатные,
Отворяла двери железные:
„А и спишь ли, Василий, или
так лежишь?
Твою дружину хоробрую
Мужики новогородские
Всех прибили, переранили,
Булавами буйны головы
пробиваны".
Ото сна Василий пробуждается,
Он выскочил на широкой двор,—
Не попала палица железная,
Что попала ему ось тележная,
Побежал Василий по Новугороду,
По тем по широким улицам;
Стоит тут старец Пилигримище,
На могучих плечах держит
колокол [1],
А весом тот колокол во триста
пуд;
Кричит тот старец
Пилигримище:
„А стой ты, Васька! не
попорхивай,
Молодой глуздырь, не
полетывай,—
Из Волхова воды не выпити,
Во Новеграде людей не выбити:
Есть молодцов сопротив тебя,
Стоим мы, молодцы, не
хвастаем".
Говорил Василий таково слово:
„А и гой еси, старец
Пилигримище!
А и бился я о велик заклад
Со мужики новогородскими,
Опричь почестного монастыря,
Опричь тебя, старца
Пилигримища,
Во задор войду—тебя убью".
Ударил он старца во колокол
А и той-то осью тележною,—
Качается старец, не шевельнется;
Заглянул он, Василий, старца
под колоколом,
А и во лбе глаз—уж веку нет.
Пошел Василий по Волх-реке,
А идет Василий по Волх-реке,
По той Волховой по улице;
Завидели добрые молодцы,
А его дружина хоробрая,
Молода Василья Буслаева,—
У ясных соколов крылья отросли,
У них-то, молодцов, думушки
прибыло;
Молодой Василий Буслаевич
Пришел-то молодцам на
выручку,—
Со теми мужики новогородскими
Он дерется, бьется день до
вечера;
А уж мужики покорилися,
Покорилися и помирилися —
Понесли они записи крепкие
К матерой вдове Мамелфе
Тимофеевне;
Насыпали чашу чистого серебра,
А другую чашу красного золота,
Пришли ко двору дворянскому,
Бьют челом, поклоняются:
„Осударыня матушка,
Принимай ты дороги подарочки,
А уйми свое чадо милое,
Молода Василья со дружиною;
А и ради мы платить
На всякой год по три тысячи,
На всякой год будем тебе
носить:
С хлебников по хлебику,
С калачников по калачику,
С молодиц повенечное,
С девиц повалешное,
Со всех людей со ремесленных,

[1] Колокол (колпак других былин), вероятно, был первоначально иностранным названием части каличьего костюма (французское cloche, старочешское klakol, klakolca — название дорожного плаща). Под Старцем-пилигримищем разумеют новгородского владыку.

Опричь попов и дьяконов".
Втапоры матера вдова
Мамелфа Тимофеевна
Посылала девушку чернавушку
Привести Василья со дружиною;
Пошла та девушка чернавушка,
Бежавши та девушка запыхалася,
Нельзя пройти девке по улице,
Что полтеи по улице валяются
Тех мужиков новогородскиих.
Прибежала девушка чернавушка,
Схватила Василья за белы руки,
А стала ему рассказывати:
„Мужики пришли новогородские,
Принесли они дороги подарочки,
И принесли записи заручные
Ко твоей сударыне матушке,
К матерой вдове Мамелфе
Тимофеевне".
Повела девка Василья со
дружиною
На тот на широкой двор,
Привела-то их к зелену вину;
А сели они, молодцы, во единый
круг,
Выпили ведь по чарочке зелена
вина,
Со того уразу молодецкого
От мужиков новгородскиих;
Вскричат тут ребята зычным
голосом:
„У мота и у пьяницы,
У млада Васютки Буслаевича,
Неупито, неуедено,
Вкрасне хорошо не ухожено,
А цветного платья не уношено,
А увечье на век залезено".
И повел их Василий обедати
К матерой вдове Мамелфе
Тимофеевне;
Втапоры мужики новогородские
Приносили Василью подарочки,
Вдруг сто тысячей,—
И затем у них мирова пошла;
А и мужики новгородские
Покорилися и сами поклонилися.

---

3. Новгород.

В Новгороде, благодаря его торговле, мы наблюдаем скопление больших богатств, земельных угодий и денежного капитала в одних руках. На этой почве развертывается ожесточенная вражда и борьба между бедными и богатыми.

„В 1209 году новгородское вече встало на посадника Дмитра Мирошкинича и его братьев, пытавшихся, в союзе с суздальским князем, держать в угнетении вольный город. За эту попытку они поплатились конфискацией всего имущества. Вече обратило в собственность города все „житие" Мирошкиничей: села их и челядь распродали, затем разыскали и захватили спрятанные деньги („скровища"). Все добытое пустили в поголовный раздел, и на каждого новгородца пришлось по 3 гривны, т.-е. 40—60 рублей на наши деньги. Но летописец говорит, что тут не обошлось и без злоупотреблений: некоторые „потай похватали" во время смятения, что попалось под руку, и от того разбогатели. А затем, кроме движимого и недвижимого имения и денежной наличности, у Дмитра нашлись еще „доски" — векселя новгородских купцов: это дали князю, сделав таким обра-

зом частное имущество Мирошкиничей государственной собственностью. Если мы примем в соображение все эти детали, мы увидим, что в Новгороде уже в XIII веке были миллионеры, переводя тогдашнюю стоимость денег на теперешнюю. Упоминание о „досках“ ясно свидетельствует, на чем держалась власть и влияние крупнейшей новгородской фамилии того времени“...

„Какого напряжения достигала ненависть угнетенных к угнетателям уже за полстолетия до падения новгородской самостоятельности, об этом свидетельствуют волнения 1418 года, подробно описанные летописью и послужившие позднейшей литературе образцом „буйного новгородского веча“ вообще. Дело началось с того, что „некий человек“ (летопись называет его уменьшительным именем „Степанко“, без отчества, отмечая тем его плебейское происхождение) напал на улице на боярина Данила Ивановича, Божина внука, и стал сзывать толпу, крича: „господа, помогите мне против этого злодея!“ Вместо того, чтобы схватить буяна, сбежавшиеся соседи схватили боярина и потащили его на вече, а там, „казнивши его ранами близ смерти“, сбросили его с моста в Волхов. Летописец ни слова не говорит нам о репутации Данила Ивановича, Божина внука, но ход событий достаточно обрисовывает эту последнюю. Как велико было негодование народной толпы, показывает продолжение истории: когда один рыбак, выловив боярина из Волхова, взял его в свой челнок, новгородцы бросились на дом этого рыбака и разграбили его. Спасшийся из воды боярин в первую минуту, очевидно, ничего не мог предпринять против своих врагов. Но дождавшись, когда вече разошлось, он велел схватить Степанка и начал его „мучить“. Волнение, однако, далеко не улеглось, как думал, повидимому, боярин, а известие об аресте Степанка подлило масла в огонь. Тотчас сзвонили опять вече на Ярославовом дворе, — то же повторялось и в следующие дни: „и собиралось людей множество, кричали и вопияли много дней: пойдем на того боярина и разграбим его дом!“ Агитация против Данила Ивановича перешла мало-по-малу в агитацию против бояр вообще, и толпа сторонников Степанка, „придя в доспехах со стягом“ на Кузьмодемьянскую улицу, разграбила там не только дом непосредственного виновника, но и „иных дворов много“, а также и на соседней Яневой улице: все это было в самом аристократическом квартале Новгорода. Неожиданное народное восстание навело сначала панический ужас на бояр. Кузьмодемьянцы бросились к архиепископу и молили его о вмешательстве. В доказательство своей покорности вечу они привели к владыке и Степанка, которого архиепископ отослал к „собранию людскому“ в сопровождении одного священника и владычнего боярина. Вече при-

няло посольство и Степанка, но это не остановило погрома. Грабили не только боярские дворы, перейдя с Кузьмодемьянской и Яневой улиц на Чудинцеву и на Людогощу, но и монастыри, служившие боярам кладовыми. Нападение на главное гнездо новгородского боярства, Прусскую улицу, было, однако, отбито: здесь успели приготовиться к обороне. Это было исходным моментом реакции; восставшие были оттеснены на Торговую сторону — более демократическую, которая вся в целом встала за Степанка и его друзей. Скоро в оборонительном положении оказалась уже Торговая сторона, а центром сражения сделался мост через Волхов: здесь свистели стрелы, звенело оружие, падали убитые, „как на войне". Но, повидимому, более благоразумная часть боярства стояла за то, чтобы не обострять дела. „Христоименитое людство", „люди богобоязливые" уговаривали владыку пойти на мост крестным ходом и разделить сражающихся. Вслед за владыкой на мосту появился и боярский совет. На Ярославов двор опять было отправлено владычнее посольство, которое на этот раз имело больше успеха: вече разошлось, „и бысть тишина в граде". Такой исход, несомненно, был подготовлен уже предыдущими переговорами: это видно из того, что посланные архиепископа уже нашли на Ярославовом дворе степенных посадников и тысяцкого, которые, конечно, не были руководителями того „собрания людского", что громило боярские дворы. Появление владыки на мосту было, в сущности, официальной церемонией: конец усобице положило желание боярства использовать достигнутый успех, не рискуя новой схваткой, которая могла кончиться и не в его пользу". (М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Т. I, гл. V. Новгород.)

„В 1342 году Лука Варфоломеев, видный новгородский боярин, ездивший когда-то послом к Ивану Даниловичу Калите, „не послушав Новаграда, митрополичьего благословения и владычнего", собрал „холопов сбоев" и отправился с ними ставить города по Двине. Надо иметь в виду, что Двина и все Заволочье были в руках крупнейших новгородских капиталистов: вся река Вага, напр., принадлежала одной фамилии, Своеземцевым, родоначальник которой купил ее в 1315 году у местной „чуди" за 20.000 белок и 10 рублей. Уже одно появление здесь нового колонизатора с его более нежели демократической дружиной должно было создать очень острые отношения, а Лука Варфоломеевич вдобавок вел себя в Заволочье, как настоящий конквистадор, и вооруженной рукой заставил себя слушаться все двинские погосты. Повидимому, считая свое положение здесь уже достаточно прочным, он отправил большую часть своих сил на Волгу для новой экспедиции, оставив у себя только двести человек. Этим воспользовались его заволоц-

кие враги; Лука был разбит в одной схватке и убит. Когда весть о его смерти пришла в Новгород, „встали черные люди на посадника Федора Даниловича, говоря, что это он послал убить Луку", и началась уже знакомая нам картина боярского погрома". (М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Т. I, гл. V, Новгород.)

---

1. К какому классу принадлежал Василий Буслаев? Сравните в этом отношении с Садко.

2. Укажите по былине взаимные отношения различных общественных групп в составе населения Новгорода.

3. В каких формах проявлялась классовая борьба? (Сопоставьте былину с историческими фактами и отметьте особенности поэтического сказа былины.)

4. Дайте характеристику Василия Буслаева. (Детские годы, ученье, образ жизни, борьба с мужиками; в каких социально-экономических условиях могли вырабатываться подобные личности? Сравните В. Буслаева с Лукой Варфоломеевым.)

---

1. Отметьте в прочитанных вами былинах приемы былевого творчества (замедленность в развитии действия; повторы отдельных слов, фраз и целых картин; элементы чудесного; гиперболизм; постоянные эпитеты, сравнения; старинные формы слов, старинные слова и обороты речи).

2. Обратите внимание на размер былинного стиха. Есть ли в нем правильное чередование ударяемых и неударяемых слогов? Сравните с каким-нибудь известным вам стихотворением. Нет ли все же мерности в былинном сказе? Подсчетом ударных слогов попробуйте определить эту мерность (ритм). Не знаете ли, как исполняются былины там, где они бытуют? Какие особенности речи былин могут объясняться характером их исполнения (взаимоотношение текста и мелодии)?

---

4. Утро народной поэзии.

I. Доклад на тему: Где и как бытует былина? — Образы отдельных замечательных сказителей и сказительниц.

Пособия.

1. Историко-литературная хрестоматия. Устная народная словесность. Составили: Н. Бродский, Н. Мендельсон, Н. Сидоров. Гиз. 4-е изд. 1923.

(Статьи Гильфердинга „Олонецкая губ. и ее рапсоды" и Харузиной „Никифор Утка".)

2. Б. Соколов. Сказители. Гиз. 1926.

3. М. Пришвин. Певец былин (в „Очерках", т. II, П. 1913).

4. Озаровская. „Перед портретом" („Красная Нива", 1926 г., № 29).

II. Доклад преподавателя на тему: Старинные исполнители и слагатели былин (дружинный певец, скоморох, калика перехожий).

Чтение былин (если возможно—пение). Желательно инсценировать бытовую обстановку (см. в книжке Б. Соколова „Сказители", стр. 35—41, глава „Сказитель на северных промыслах"). Тексты былин, помимо указанной выше хрестоматии, в сборниках М. Н. Сперанского „Былины", т. I и II. Изд. Сабашниковых.

Чтение стихотворений: А. Толстого—„Алеша Попович", „Илья Муромец", Сурикова—„Садко", Орешина—„Микула".

Музыкальные нумера: из оперы „Садко" Римского-Корсакова.

Устроить небольшую выставку: а) портреты сказителей и сказительниц, портреты собирателей былин (см. в пособиях к первому докладу);

б) снимки с картин художников: Васнецов — Богатыри на заставе. Богатырь на распутьи (см. стих. И. Бунина „На распутьи" в сборн. „Листопад", изд. „Знание", стихотв., т. II). Билибин — Садко. Рябушкин — Микула Селянинович;

в) оригинальные рисунки учащихся на былинные темы;

г) карты и виды Олонецкого края (см., напр., книгу К. Случевского „По северо-западу России", т. I и II).

---

5. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон,
И причитывали, да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного;
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дня, три ночи,
И все слушали—не наслушались.

I.

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его все бояре да князья,
По бокам его все опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш

И поднесть его опричникам.
И все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь—
А в груди его была дума крепкая.
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого,—
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником—
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное—
И очнулся тогда добрый молодец.
„Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц—звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется—
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися;
А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею ты вскормлен Малютиной!..“

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:
— Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную—не запотчивать!
А прогневал я тебя—воля царская!—
Прикажи казнить, рубить голову!
Тяготит она плечи богатырские
И сама к сырой земле она клонится.
И сказал ему царь Иван Васильевич:
„Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Иль конь захромал худо-кованый?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?“

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:
— Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день, твоей милостью,
Мы не хуже другого нарядимся.
— Как я сяду, поеду на лихом коне
За Москву-реку покататися,

Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю на бочок шапку
бархатную,
Черным соболем отороченную,—
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки,
И любуются, глядя,
перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не
любуется,
Полосатой фатой закрывается...

— На святой Руси, нашей
матушке,
Не найти, не сыскать такой
красавицы:
Ходит плавно—будто лебедушка,
Смотрит сладко—как голубушка,
Молвит слово—соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою цалуются.
Во семье родилась она
купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.

— Как увижу ее, я и сам
не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне,
православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли наряды парчевые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь
теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом
похвастаюсь?..
— Отпусти меня в степи
приволжские,
На житье на вольное, на
казацкое.
Уж сложу я там буйную
головушку
И сложу на копье басурманское;
И разделят по себе злы
татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце бранное черкасское.
Мои очи слезные коршун
выклюет,
Мои кости сирые дождик
вымоет,
И без похорон горемычный
прах
На четыре стороны развеется...

И сказал, смеясь, Иван
Васильевич:
„Ну, мой верный слуга! я твоей
беде,
Твоему горю пособить
постараюся.
Ты возьми перстенек ты мой
яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде сва́хе смышленой
покланяйся,
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься—празднуй
свадебку,
Не полюбишься—не
прогневайся".

— Ох ты гой еси, царь
Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды
истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему
христианскому...

Ай, ребята, пойте—только
гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дело
разумейте!
Уж потешьте вы доброго
боярина
И боярыню его белолицую!

II.

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да не добрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо—
Гонит их метелица, распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает.
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке, за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:
„Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася,
В такой поздний час Алена Дмитревна?
А что детки мои любезные—
Чай забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?“

— Господин ты мой, Степан Парамонович!
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать—
А по-сю-пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачем плачут, все не унимаются.

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников.
И он стал к окну, глядит на улицу—
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит—сила крестная!
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны,
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

— Уж ты где, жена, жена, шаталася,
На каком на дворе, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежа вся твоя изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками все боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..

Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...

И услышав то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

„Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи—будто острый нож:
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

„От вечерни я домой шла нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася—человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шопотом:
— Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...

„Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня цаловать-ласкать,
И цалуя все приговаривал:
— Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь ярких камней, аль цветной парчи?
Как царицу, я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать.
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!

„И ласкал он меня, цаловал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки;
Смеючись, на нас пальцем показывали...

„Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок—твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную—
И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь?

„Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка;
А мой старший брат, сам ты ведаешь,

На чужой сторонушке пропал
без вести;
А меньшой мой брат—дитя
малое,
Дитя малое, неразумное"...
Говорила так Алена
Дмитревна,
Горючьми слезами заливалася.
Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата,
поклонилися
И такое слово ему молвили:
„Ты поведай нам, старшой
наш брат,
Что с тобой случилось,
приключилося,
Что послал ты за нами во темную
ночь,
Во темную ночь морозную?"
— Я скажу вам, братцы
любезные,
Что лиха беда со мною
приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский
Кирибеевич,
А такой обиды не стерпеть
душе,
Да не вынести сердцу
молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный
бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду на-смерть биться, до
последних сил;
А побьет он меня—выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою,
На вас меньше грехов
накопилося,
Так авось господь вас помилует.
И в ответ ему братья молвили:
„Куда ветер дует
в поднебесьи,
Туда мчатся и тучки послушные;
Когда сизой орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов
убирать,
К нему малые орлята слетаются;
Ты наш старший брат, нам
второй отец;
Делай сам, как знаешь, как
ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не
выдадим!"

Ай, ребята, пойте—только
гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дело
разумейте!
Уж потешьте вы доброго
боярина
И боярыню его белолицую!

III.

Над Москвой великой,
златоглавою,
Над стеной кремлевской,
белокаменной,
Из-за дальних лесов, из-за
синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучи серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми;
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит,
улыбается.
Уж зачем ты, алая заря,
просыпалася?
На какой ты радости
разыгралася?
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный
бой,
Разгуляться для праздника,
потешиться.
И приехал царь со дружиною,

Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажен
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
„Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя, нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит!“

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную.
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали—
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
„Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя, нашего батюшку“.

Вдруг толпа раздалась на обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
„А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду, племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться“.

Отвечает Степан Парамонович:
— „А зовут меня Степаном Калашниковым;
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от света небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить,
К тебе вышел я теперь, басурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!

И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,

Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся,
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева;
И погнулся крест, и вдавился в грудь;
Как роса, из-под него кровь закапала.
И подумал Степан Парамонович:
„Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду допоследнева!“
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалого купца
И привесть его пред лицо свое.
Как возговорил православный царь:

„Отвечай мне по правде, по совести:
Вольной волею или нехотя
Ты убил на смерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца, Кирибеевича?“

— Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе:
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...

„Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую.
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...“

Как на площади народ собирается;
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую;
По высокому месту лобному,

Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором, навостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается;
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:
„Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!“
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж тульской, рязанской, владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют, шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте;
Каждому правдою и честью воздайте,
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

М. Ю. Лермонтов.

1837 г.

---

6. Женитьба Ивана Грозного и единоборство Кастрюка.

Грозный царь Иван Васильевич,
Произволил он женитися,
Произволил он обручатися,
Не у нас на святой Руси,
И не у нас в каменной Москвы,
А в земле во неверныя,
В земле во Черкасския,
На той ли Марье Кастрюковной,
И на той ли на Марье Демьюковной.
Еще много брал он в приданое:
Триста татаринов да пятьсот донских казаков;
Затылки у них были вшивые...
Грозный царь Иван Васильевич,
На великих был он на радостях,
И заводил пированьице — почестен пир
На своих на князей, на бояр,

На всех на могучих богатырей,
На все паленицы удалые.
Все на пиру наедалися,
Все на пиру напивалися,
И все на пиру порасхвастались.
Один сидит молодец—
призадумался,
Не ест, не пьет и не кушает,
И ничем он, молодец, не
хвастает.
Вышел дядюшка Никита
Романович,
И ходит он по своей по светлой
по светлицы,
По той ли по гридни по
столовыя,
Сам говорит таковы слова:
„Что же ты, больше-царский
шурин,
Не ешь, не пьешь и не кушаешь,
И ничем, молодец, не хвастаешь?
Какую ты думу думаешь?
Разве место тебе не по разуму,
Али чара не рядом ошла,
Али невежа на пиру обесчестила?“
— „А я думаю думушку крепкую:
Есть ли у вас в Москве борцы
С Кастрюком поборотися,
С Демьюком поломатися,
Силы отведати и царя
припотешити?
Я пятьсот борцов поборол,
Пятьсот городов за себя побрал;
Еще как московских борцов
побору,
Всю Москву за себя возьму,
А царя Ивана Васильевича в полон
полоню“.
И выходил дядюшка Никита
Романович
На свое на крутое на красно
крылечико,
Крикнул он во всю голову,
Свистнул он во всю Москву:
„Есть ли у нас в Москве
борцы
С Кастрюком поборотися,
С Демьюком поломатися,
Силы отведати и царя
припотешити?“
По грехам учинилося,
В Москве борцов не случилося;
Только случилося два братца
Андреевича:
Один Васенька Маленький,
А другой Обросенька
Хроменький —
На ножку припадывает,
Из-под ручки высматривает.
Возговорит еще Васенька
Маленький:
„Ай же ты, князь Никита
Романович!
Донеси Грозному царю Ивану
Васильевичу.
Не хочу я с ним боротися,
С тем с больше-царским шурином,
А возьму его за праву руку,
И возьму его за леву ногу,
И кину его за Днепру реку“
Говорит Обросенька
Хроменький:
„Как пособит мне бог
поборотися,
Так смети ли его из платья
вытряхнуть,
Нагого по двору спустить,
По тому ли двору государеву,
По тому ли крылечику красному?“
Приходит Никита Романович:
„Ой же вы, князья-бояра!
У нас хлеб и соль на столе,
У нас есть и борцы на дворе“.
И скочил больше-царский
шурин,
На тех на великих на радостях
Дубовую скамеечку подломил,
Он много князей-бояр придавил.
Не два ясные сокола слеталися:
Два добрые молодца схватилися;
Как стал Кастрюк на ногах —
А очутился Кастрюк на буйной
головы.
Платьице у него треснуло,
Кожа у него вереснула;
Три ребра он в боку сломил,

И сломил он у него ручку правую,
И сломил у него ножку левую;
Взял его за праву руку,
Из платья его вон повытряхнул,
Нагого по двору спустил,
По тому ли двору государеву,
По тому ли крылечику красному.
И не пошел по двору
государеву;
А ушел под крылечико красное,
И сам говорит таковы слова:
„Не дай-ко мне с московскими
борцами боротися,
Со тыми с молодымя, с ученымя".

---

1. Составьте подробный план „Песни".

2. Какие черты Грозного проявляются в первой части „Песни", какие в третьей? Обрисуйте, пользуясь словами песни, образ Грозного (внешний и внутренний).

3. Каким изображен в „Песне" Кирибеевич (его внешний вид, молодечество, сила чувства, отношение к Грозному)?

4. Соберите в „Песне" все черты жизненного уклада старинной купеческой семьи. (Где днем хозяин? Куда пошла жена? Почему так встревожился отсутствием жены Степан Парамонович? Как он собирался наказать жену? Каковы отношения между мужем и женой, каковы между старшим братом и младшим?)

5. Что побудило Калашникова выйти на „смертный бой"?

6. Зачем участвует в кулачных боях Кирибеевич?

7. Что в боевой встрече усиливало одного бойца и ослабляло другого? Приведите соответствующие цитаты.

8. Почему не все открыл Грозному Калашников в своем ответе?

9. Как отнесся Грозный к убийце своего любимого опричника? Как понять слова: „Что и ты не оставлен моей милостью"? Сравните все это место с народной песней: „Не шуми, мати зеленая дубравушка" („Капитанская дочка" Пушкина, глава VIII).

10. В ком опричники находили опору в своем произволе?

11. Почему царь окружил себя опричниками и чем дорожил он в них? (См. М. Н. Покровский — „Русская история с древнейших времен", т. I, гл. VIII — Опричнина.)

---

1. Какие сцены в „Песне" вы считаете наиболее подходящими для зарисовки? Как вы их себе представляете? Попробуйте нарисовать.

2. Какова роль пейзажа в „Песне" (обстановка действия, соответствие или контраст с душевными переживаниями героев)?

3. Сравните „Песню" Лермонтова с народной исторической песней о „Кастрюке" и выясните, что общего у Лермонтова с этой песней в построении сказа, обрисовке характеров, в отдельных поэтических образах и языке.

Сравните картину пира у Лермонтова и в народной песне (ее поэтические краски и композиционная роль).

Выберите у Лермонтова в „Песне" эпитеты и разбейте их на две группы: а) обычные в народной поэзии, „постоянные" и б) новые.

Отметьте синонимические выражения (напр., „Удалой боец, буйный молодец" и др.), тавтологии („Я убил его вольной волею"), сравнения (краткие и распространенные, отрицательные), повторения отдельных слов и целых выражений, параллелизмы („Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон" и др.), уменьшительные и ласкательные имена существительные, старинные и народные формы слов (мово, деепричастие на „чи" и др.), „стык".

Как понять выражение: „Не родилась та рука заколдованная" (вместо какого слова стоит слово „рука")?

4. В чьи уста вложил „Песню" Лермонтов? Когда и где она поется?

5. Какой смысл имеет „запевка" в построении всего сказа?

6. На что вызывают скоморохи хозяина и хозяйку этой запевкой?

7. Какое значение заключительной „славы"?

7. Медный Всадник.

Предисловие.

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. И. Берхом.

Вступление.

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца,
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал Он:
„Отсель грозить мы будем шведу;
„Здесь будет город заложон,
„На зло надменному соседу;
„Природой здесь нам суждено
„В Европу прорубить окно [1],
„Ногою твердой стать при море;
„Сюда, по новым им волнам,
„Все флаги в гости будут к нам—
„И запируем на просторе".

Прошло сто лет—и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво:
Где прежде финский рыболов,
Печальной пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там,
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова —
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье [2],
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную

---

[1] Альгаротти где-то сказал: Pétersbourg est la fenêtre, par la quelle la Russie regarde en Europe. (Перевод: Петербург — окно, через которое Россия „глядит в Европу".) А. П.

[2] См. стихи кн. Вяземского к графине З — ой. А. П.
(Здесь Пушкин имеет в виду след. стихи Вяземского:

Я Петербург люблю с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной,
И с свежей зеленью младых его садов.)

На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса;
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой;
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно-зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою;
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия:
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
Была ужасная пора;
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ...

29 октября.

Часть первая.

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом;
Плескал шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной;
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо уж как-то дружно;
Прозванья нам его не нужно, —
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне [1], где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о покойнице родне,
Ни о забытой старине.
Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег—
Но долго он заснуть не мог
В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он? О том,
Что был он беден; что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость, и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег; что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли,

[1] Один из кварталов Петербурга, где ютилась беднота.

И что с Парашей будет он
Дня на два, на три разлучен.
Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он, наконец, закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настает...
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури,
И спорить стало ей не в мочь...[1]
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветра от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова;
Погода пуще свирепела;
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь, —
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело... Воды вдруг
Втекли в подземные подвалы;
К решеткам хлынули каналы —
И всплыл Петрополь, как тритон[2]
По пояс в воду погружен.
Осада! Приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна; челны
С разбега стекла бьют кормой;
Садки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гробы с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища;
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен вышел он
И молвил: „С божией стихией
„Царям не совладать“. Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным,
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы[3]
Спасать и страхом обуялый,
И дома тонущий народ.
Тогда на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новой,
Где над возвышенным крыльцом,
С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые —
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно
бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,

---

[1] Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению (в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz). Жаль только, что описание это не точно: снегу не было, Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта. А. П.

[2] Морское божество в греческой мифологии.

[3] Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф. А. П.

С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились.
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! Там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь — ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
И он как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода — и больше ничего.
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Часть вторая.

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит: вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу по пути роняя.
Вода сбыла, и мостовая
Открылась. И Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске,
К едва смирившейся реке;
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь;
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит, видит лодку —
Неоцененную находку;
„Сюда!“ Он машет, он зовет,
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.
И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться в глубь меж их
рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн, — и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит —
Узнать не может: вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики; другие
Совсем обрушились; иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений,
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом, —
И вот, бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?
Он остановился,
Пошел назад — и воротился...
Глядит... идет... еще глядит:
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь ворота;
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —

И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал...
Ночная мгла
На город трепетный сошла,
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.
Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней. Багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.
Граф Хвостов,
Пиит, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.
Но бедный, бедный мой
Евгений...
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался;
Его терзал какой-то сон...
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал в наймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском;
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему;
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил — ни зверь, ни человек,
Ни то, ни се — ни житель света,
Ни призрак мертвый...
Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь о гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было;
Дождь капал; ветер выл уныло
И с ним вдали, во тьме ночной,
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал, пошел бродить — и вдруг
Остановился и вокруг
Тихонько стал водить очами,
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине,
Над огражденною скалою,
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне [1].
Евгений вздрогнул. Прояснились

[1] См. описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана, как замечает сам Мицкевич. А. П.

В нем страшно мысли. Он
узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные томились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Над морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел,
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь; он мрачно стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
„Добро, строитель чудотворной!“
Шепнул он, злобно задрожав, —
„Ужо тебе!..“ Но вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой,
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал...
И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему, —
В его лице изображалось
Смятенье: к сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный снимал,
Смущенных глаз не поднимал
И шел сторонкой.
Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак, на ловле запоздалый,
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили, ради бога.

А. С. Пушкин.

31 октября 1883. Болдино.

---

1. Почему поэма названа „Медный Всадник“? Кто в поэме является действующими лицами?

2. Подробно ли останавливается Пушкин на личной истории Евгения и Параши? Соберите все биографические данные о Евгении.

3. Сопоставьте характеристику Евгения и Петра I.
4. Какими приемами дана идеализация образа Петра?
5. Соберите все черты, характеризующие „град Петров", как столицу военного империализма.
6. Как изображен Медный Всадник в момент стихийного мятежа Невы и каким представляется он Евгению, поднявшему против него бунт?
7. Выберите в картине наводнения черты народного восстания.
8. В защиту какого из приведенных ниже толкований „Медного Всадника" можете привести большее количество аргументов?

а) „При взгляде на Великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собой несокрушимость его творения, мы, хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взгляд на нас есть уже его оправдание". (В. Белинский.)

б) „По-моему, мысль „Медного Всадника" выражена с достаточной ясностью и должна быть формулирована так: великие события нередко требуют тяжелых жертв, могущих вызвать естественный ропот пострадавших и во имя пострадавших, но этим не омрачается слава мощных двигателей народной жизни". (Проф. Р. Брандт 1902.)

в) „Пушкин выбрал своим героем самого мощного из всех самодержцев, какие когда-либо возникали на земле. Стихийная революция не страшит его, он ее презирает. Но когда восстает на него свободный дух единичного человека, „державец полумира" приходит в смятение. Он покидает свою „огражденную скалу" и всю ночь преследует безумца, только бы своим тяжелым топотом заглушить в нем мятеж души... „Да, — как бы говорит Пушкин, — я не верю больше в борьбу с деспотизмом силами стихийного мятежа: я вижу всю его бесплодность. Но я не изменил высоким идеалам свободы... Я попрежнему уверен, что не вечен „кумир с медною главой", как ни ужасен он в окрестной мгле, как ни вознесен он в непоколебимой вышине". Свобода возникнет в глубинах человеческого духа, и „огражденная скала должна будет опустеть". (В. Брюсов, 1909.)

г) „В „Медном Всаднике" вылилась у Пушкина вся его восхищенная любовь к Петербургу, символизирующему в глазах поэта европейскую культуру, и сказалась вся его уверенность в неминуемом торжестве этой культуры". (Л. Войтоловский. История русской литературы, ч. I. 1926.)

д) „В „Медном Всаднике" в символических образах Петра и Евгения Пушкин изображает социальную борьбу деклассированного русского дворянства с самодержавием, борьбу, одним из ярких эпизодов которой, прошедшим на глазах самого Пушкина, было движение декабристов". (Д. Благой. Миф о декабристах. „Печать и Революция" 1926, № 5.)

9. На долю каких общественных групп пала вся тяжесть Петровской реформы?

10. От чьего имени прозвучал, пока еще бессильный, протестующий голос Евгения?

---

1. Выпишите эпитеты к слову в о л н ы.

2. Разметьте соответственные эпитеты поэмы на зрительные и эмоциональные.

3. Уясните художественную целесообразность встречающихся в поэме сравнений.

4. Укажите звукопись в описании наводнения, а также в изображении „скакания" Медного Всадника.

5. Проследите смену ритмов в начале и в конце II части.

6. Выпишите славянизмы языка.

7. Как бы теперь сказали вместо выражения „над возвышенным крыльцом"? В каких случаях применяется это прилагательное?

---

1. Сопоставьте с поэмой Пушкина отрывок из „Прогулки" К. Батюшкова.

2. Чем можно объяснить сходные выражения?

3. Как использовал Пушкин описание наводнения 1824 года в книге Берха?

---

8. Прогулка в Академию Художеств.

(Отрывок.)

Вчерашний день по утру, сидя у окна моего, я предался сладостному мечтанию... Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, — любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцов, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом или брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешаны были мережи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?..

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасной. Из крепости Нюсканц еще гремели шведские

пушки; устье Невы еще покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

К. Н. Батюшков.

1814 г.

---

9. Наводнение в С.-Петербурге 7 ноября 1824 года.

День 6-го ноября, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. Дождь и пронзительный холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно повысилась в Неве. В 7 часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна; стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали после дневных трудов, не обращая внимания на буйство стихии. С рассветом мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появились на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами, но около 10 часов утра, при постепенной прибыли воды, толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко вздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега. Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастья и с любопытством смотрели на сей грозный феномен природы, уже низменные места, лежащие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители Галерной гавани, Канонерского острова, Гутуевского, деревень: Емельяновки, Тентелевой, и казенного чугунного завода близ Екатерингофа терпели бедствия. Невозможно описать того ужасного явления, которому были свидетелями люди, бывшие в сие время на берегу Финского залива и чудесно спасшиеся от погибели. Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиной, над которою распростерт был туман от брызгов волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег. Множество деревянных строений, подвер-

женных первым ударам и сильному напору огромной массы воды, не могли противостоять, поколебались в своем основании и с треском обрушились. Люди спасались, как могли, в уцелевшие домы, на бревнах, плавающих кровлях, воротах; некоторые лишились жизни при этом случае. Весь домашний скот и пожитки погибли. Вода беспрестанно прибывала, ветер усиливался, и, наконец, возвышение воды в Финском заливе простерло бедствие на целый город. Нева, встретив препятствие в своем течении и не могши излиться в море, возросла в берегах своих, наполнила каналы и через подземные трубы хлынула в виде фонтанов на улицы. В одно мгновение вода полилась через края набережных из реки и всех каналов и наводнила улицы. Трудно представить себе смятение и ужас жителей при сем внезапном явлении. Погреба, подвалы и все нижние жилья тотчас наполнились водою. Каждый спасал, что мог, и выносился на верх, оставляя в добычу воде свое имущество. Некоторые, слишком заботливые о спасении вещей и товаров, погибли в погребах. Между тем толпы народа, бывшего на улицах, бросались в дома, другие поспешили в свои жилища, но прибывшая вода принудила их спасаться, где кто мог. Кареты и дрожки, которые сперва разъезжали по воде, начали всплывать и спасаться на высоких местах и по чужим дворам. В первом часу пополудни весь город (кроме Литейной, Каретной и Рождественской части) залит был водою, везде почти в рост человека, а в некоторых низких местах (как, например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенской улиц, у Каменного моста) более, нежели на полторы сажени. Вид с бельведера дома Котомина был ужасный и величественный. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, излившееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывшими улицы, по которым неслись лес, бревна, дрова и мебель. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах. Около двух часов появился на Невском проспекте военный генерал-губернатор граф М. А. Милорадович на двенадцативесельном катере для подания помощи и ободрения жителей. Несколько малых лодок поехало по Морской, и большой катер с несколькими людьми различного звания, спасшимися от погибели на берегу Невы, сперва приставал к нашему дому, а после того остановился возле дома Косиковского. На другой день этот катер стоял на Морской улице на мели.

Но бедствия на Адмиралтейской стороне (кроме Коломны) не были столь ужасны, как в вышеупомянутых селениях на берегу Финского залива, в поперечных линиях Васильевского острова, близ Смоленского поля, на Петербургской стороне

и вообще в местах низких, заселенных деревянными строениями. Там большая часть домов повреждены, иные смыты до основания; все заборы ниспровергнуты, и улицы загромождены были лесом, дровами и даже хижинами. На многих улицах, во всех низких частях города, лежали изломанные барки, и одно паровое судно огромной величины с завода г. Берда очутилось на Коломне, возле сада митрополита римских церквей. На Неве все пловучие мосты сорваны, исключая Самсоньевского и моста, соединяющего Каменный остров с Петербургской стороною. Все чугунные и каменные мосты уцелели; но гранитная набережная Невы поколебалась, и многие камни, особенно на пристанях, сдвинуты с места или опрокинуты.

В третьем часу пополудни вода начала сбывать: в 7 часов уже стали ездить в экипажах по улицам, и тротуары во многих местах сделались проходимыми. В ночь улицы совершенно очистились от воды, которая снова подчинилась своим законам течения, оставив плачевные следы своего кратковременного буйства.

В. Берх (составлено по Ф. Булгарину).

---

10. Водная стихия.

(Из корреспонденции В. Михайлова „Водная стихия“ помещенной в № 220 „Правды“, от 26 сентября 1924 г.)[1].

Нигде водная стихия не чувствуется так остро, так выпукло и осязательно, как в Ленинграде... Уж давно, недели две — три, несмотря на чудесные дни „бабьего лета“, что-то тревожное чувствовалось в постоянных колебаниях уровня воды в каналах, порывисто, злобно стонал ветер в решетках мостов Невы, Фонтанки, Мойки, и странные желто-пепельные тучи гнездились над далекими, дымчато-опаловыми просторами Финского залива...

Но немногие особенно задумывались над „приметами“; трудовой день требовал иного внимания, иных забот, и только к полудню 23 сентября тревожное не столько волнение, сколько забота стали чувствоваться в городе, главное — около его водных артерий, около Невы.

Бухнула пушка, столь привычная и знакомая, в полдень, а рваные тучи продолжали нестись, пенные мутные волны все сильнее и выше стали дробить гранит берегов, а раз-

---

[1] „Горн“. Литерат. сборники, под ред. А. Калачева и Р. Лемберг, п. IV — „Вода“.

гулявшийся ветер все сильнее и сильнее стал крутить над взбудораженной Невой и над шумливой зеленью садов и парков...

Прошло минут сорок — пятьдесят в этих стонах ветра, шуме рассвирепелой водной стихии и усиливающейся тревожной заботливости города, почуявшего опасность, — и забухали над Ленинградом пушечные выстрелы, неся из конца в конец города весть о грозящей беде.

Великий город встрепенулся. Начали штурмоваться вагоны трамов и продуктовые магазины, как встревоженные муравейники стали обычно многолюдные улицы, загромыхали пожарные части, загудели моторы, и в то же самое время закованная в гранит и чугун, но все еще не покоренная водная стихия, наконец, вырвалась из оков и, шумя и пенясь, ринулась через решетки на улицы и набережные, расщепливая, ломая и дробя лодки и барки, сгибая фонарные столбы, сметая и кидая в пролеты улиц деревянные настилки.

Фонтанка и Мойка заливали тротуары и мостовые, сгоняли испуганных пешеходов, пугали лошадей, останавливали трамы и заставляли моторы шумливо вертеть колесами, не двигаясь с места.

Когда начали звенеть разбиваемые несущимися в потоках мутной воды обломками магазинные витрины, и из них, как из пастей странных чудовищ, стали падать в грохот улиц вещи, — потекли разноцветные потоки...

А Нева, как безумная, все уничтожая на своем пути, грозила залить весь город.

Город был разорван на куски.

Отрезанные от центра острова то исчезали в тумане водяных брызг от смерчей, проносящихся над Невой и каналами, то темными силуэтами маячили перед пытливыми взорами людей, заполнявших балконы и крыши домов.

По воздуху проносились сорванные листы железных крыш, деревянные обломки. Иногда на середину улицы падало дерево, вырванное из сада или парка, и моментально вокруг него, как и вокруг покинутых трамов, скапливались обломки разных предметов.

Над этим хаосом стонов, шумов, свиста ветра, всплесков воды и разбиваемых стекол стал спускаться вечер. Темные пятна окон неосвещенных домов усиливали темноту. Казалось, что не будет конца этому слепому, дикому бунту. Но в то же время в неосвещенных, наполовину залитых в своих основаниях, домах, разобщенных бурливыми потоками, уже закипала новая жизнь.

Ленинград организовывался: брались на учет свободные комнаты, учитывалось продовольствие, налаживалась связь, устраивалось освещение...

11. Воззвание

ко всем рабочим, работницам, красноармейцам, учащейся молодежи и гражданам Ленинграда.

(Воззвание Ленинградского исполкома. „Ленинградская Правда", № 219, от 25 сентября 1924 г.) [1].

Товарищи! Ленинград постигло тяжелое несчастье — сильная стихия наводнения внезапно обрушилась на город и нанесла большие разрушения.

Для борьбы с наводнением губернским исполкомом приняты самые решительные и срочные меры.

Были быстро мобилизованы военные, милицейские и пожарные части. Им удалось предупредить все население г. Ленинграда, граждан, застигнутых наводнением на улице, спасти, благодаря чему человеческих жертв мало зарегистрировано — их только девять человек.

Наводнение по своему размеру может быть сравнено только с наводнением 1824 года, и материальные разрушения от него колоссальны.

Все торцовые мостовые снесены, масса складов затоплена, затоплены машинные отделения электрических станций многих фабрик и заводов, значительно пострадал порт, повреждены мосты и набережные, снесено большое количество дров, затоплены подвальные жилые помещения, электрические станции. Пострадали также трамвай и водопровод. Всех разрушений губисполком пока не успел учесть.

Губернский исполнительный комитет постановил образовать целый ряд комиссий, которые в ближайшие часы должны выяснить размеры убытков и разрушения.

Исполнительный комитет постановил объявить город на военном положении и образовал Чрезвычайную комиссию, на которую возложил проведение военного положения, ликвидацию последствий наводнения. Эта комиссия приступила к работе, приняла самые энергичные меры по очистке улиц, и к вечеру начали работать водопроводные станции, в районы подана вода, пущен трамвай. Ленинград полностью обеспечен хлебом и продовольствием. При этом губисполком постановил беспощадно карать тех торговцев, которые посмеют использовать стихийное бедствие для спекуляции на продуктах и вздувать цены.

Товарищи! Ленинград вновь постигло испытание. Но это испытание ленинградский пролетариат вынесет с честью: он уже показал и покажет прежние примеры своей солидарности, организованности, революционной выдержки, дисциплины.

---

[1] Из сборника „Горн", ч. IV.

Исполнительный комитет Ленинградского Совета призывает всех рабочих, работниц, красноармейцев, учащуюся молодежь и всех граждан к напряжению всех сил по ликвидации несчастья. Пусть скорее заработают наши фабрики и заводы, пусть быстро войдет в свое русло нормальная трудовая жизнь. Пусть каждый из вас бдительно следит за революционным порядком и поможет советской власти быстрее ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Да здравствуют ленинградские рабочие!

Да здравствует наш революционный Ленинград!

Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

---

1. Выделите общие черты бунта водной стихии, описанного Булгариным в 1824 году и Михайловым в 1924 году.
2. Отметьте разницу в том и другом описании: в чем изменилась картина через сто лет?
3. Как встретило бедствие население в 1824 году и пролетариат Ленинграда в 1924 году?
4. Как встретили бедствие власть Петербурга в 1824 году и Ленинградский исполком в 1924 году?

Темы:

1. Пользуясь материалами, относящимися к наводнению в Ленинграде, дайте описание бунта водной стихии.
2. Дайте описание наводнения в вашей местности.
3. Наводнение в приволжских городах.
4. Разрушительная деятельность воды.
5. Вода, как враг и как друг человека.
6. Человек в борьбе с водной стихией.

---

12. О погоде.

Уличные впечатления.

Что за славная столица
Развеселый Петербург.

Лакейская песня.

Слава богу, стрелять перестали!
Ни минуты мы нынче не спали,
И едва ли кто в городе спал:
Ночью пушечный гром
грохотал —
Не до сна! Вся столица молилась,
Чтоб Нева в берега воротилась,
И минула большая беда —
Понемногу сбывает вода.
Начинается день безобразный —
Мутный, ветреный, темный
и грязный.
Ах, еще бы на мир нам с улыбкой
смотреть!
Мы глядим на него через тусклую
сеть

Что́ как слезы струится по
окнам домов
От туманов сырых, от дождей
и снегов!
Злость берет, сокрушает хандра,
Так и просятся слезы из глаз.
Нет! Я лучше уйду со двора...
Я ушел — и наткнулся как-раз
На тяжелую сцену. Везли на
погост
Чей-то вохрой окрашенный гроб
Через длинный Исакиев мост.
Перед гробом не шли ни родные,
ни поп,
Не лежала на нем золотая парча,
Только, в крышу досчатого гроба
стуча,
Прыгал град, да извозчик палач
Бил кургузым кнутом
спотыкавшихся кляч,
И вдоль спин побелевших удары
кнута
Полосами ложились. Съезжая
с моста,
Зацепила за дроги коляска,
стремглав
С офицером, кричавшим:
„пошел!“ проскакав.
Гроб упал и раскрылся.
„Сердечный ты мой!
Натерпелся ты горя живой,
Да пришлося терпеть и по
смерти...
То случился проклятый пожар,
То теперь наскакали вдруг — черти!
Вот уж подлинно бедный Макар!
Дом-то, где его тело стояло,
Загорелся, — забыли о нем, —
Я схватилась: побились не мало,
Да спасли-таки гроб целиком.
Так опять неудача сегодня!
Видно участь его такова...
Расходилась рука-то господня,
Не удержишь!..“
Такие слова
Говорила бездушно и звонко,
Подбежав к мертвецу впопыхах,
Провожавшая гроб старушонка
В кацавейке, в мужских сапогах.
— Вишь, проклятые! Ехать им
тесно!
„Кто он был?“ — я старуху
спросил.
— Кто он был? Да чиновник;
известно;
В департаментах разных служил.
Петербург ему солон достался:
В наводненье жену потерял,
Целый век по квартирам таскался
И четырнадцать раз погорал.
А уж службой себя как неволил!
В будни сиднем сидел да писал,
А по праздникам ноги мозолил —
Все начальство свое поздравлял.
Вот и кончилось тем —
простудился!
Звал из Шуи родную сестру,
Да деньжонок послать поскупился.
„Так один, говорит, и умру,
Не дождусь... кто меня
похоронит?
Хоть уж ты не оставь, помоги!“
Страх, бывало, возьмет, как
застонет!
Подари, — говорю, — сапоги,
А то вишь разошелся дождище!
Неравно в самом деле умрешь,
В чем пойду проводить на
кладбище?
Закивал головой... „Ну,
и что ж?“
— Ну, и умер — и больше ни
слова:
Надо места искать у другова!
„И тебе его будто не жаль?“
— Что́ жалеть? Нам жалеть
недосужно.
Что́ жалеть? Хоронить теперь
нужно.
Эка, батюшки, страшная даль!
Эко времячко!.. Господи, боже!
Как ни дорого бедному жить,
Умирать ему вдвое дороже:
На кладбище-то место купить,
Да попу, да на гроб, да на
свечи...

Говоря эти грустные речи,
До кладбища мы скоро дошли
И покойника в церковь внесли.
Много их там гуртом отпевалось,
Было тесно — и трудно дышалось.
Я ушел по кладбищу гулять;
Там одной незаметной могилы,
Где уснули великие силы,
Мне хотелось давно поискать [1].

Сделав даром три добрые круга,
Я у сторожа вздумал спросить.
Имя, званье, все признаки друга
Он заставил пять раз повторить
И сказал: „Нет, такого не знаю;
А, пожалуй, примету скажу,
Как искать: ты ищи его с краю,
Перешедши вон эту межу,
И смотри: где кресты — там мещане,
Офицеры, простые дворяне;
Над чиновником больше плита;
Под плитой же бывает учитель;
А где нет ни плиты, ни креста,
Там, должно быть, и есть сочинитель".

За совет я спасибо сказал,
Но могилы в тот день не искал.
Я старуху знакомую встретил
И покойника с ней хоронил.
День, попрежнему гнил и несветел,
Вместо града дождем нас мочил.
Средь могил, по мосткам деревянным
Довелось нам долгонько шагать.
Впереди, под навесом туманным,
Открывалась болотная гладь:
Ни жилья, ни травы, ни кусточка, —
Все мертво — только ветер свистит.
Вон виднеется черная точка:
Это сторож. „Скорее!" кричит.
По танцующим жердочкам прямо
Мы направились с гробом туда.
Наконец, вот и свежая яма,
И уж в ней по колено вода!
В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили —
И конец! Старушонка опять
Не могла пересилить досады:
„Ну, дождался, сердечный, отрады!
Что б уж, кажется, с мертвого взять?
Да господь, как захочет обидеть,
Так обидит: вчера погорал,
А сегодня, изволите видеть,
Из огня прямо в воду попал!"
Я взглянул на нее — и заметил,
Что старухе-то жаль бедняка:
Бровь одну поводило слегка...
Я немым ей поклоном ответил
И ушел... Я доволен собой,
Я недаром на улицу вышел:
Я хандру разогнал — и смешной
Каламбур на кладбище услышал,
Подготовленный жизнью самой...

27 дек. 1853.

* * *

Я горячим рожден патриотом,
Я весьма терпеливо стою,
Если войско, несметное счетом,
Переходит дорогу мою.
Ускользнут ли часы из кармана,
До костей ли прохватит мороз
Под воинственный гром барабана, —
Не жалею: я истинный росс!
Жаль, что нынче погода дурная,
Солнца нет, кивера не блестят,
И не лоснится масть вороная
Лошадей. Только сабли звенят;
На солдатах едва ли что сухо,
С лиц бегут дождевые струи,
Артиллерия тяжко и глухо
Подвигает орудья свои.

[1] Могила В. Г. Белинского.

Все молчит. В этой раме
туманной
Лица воинов жалки на вид,
И подмоченный звук барабанный,
Словно издали, жидко гремит...

* * *

Я, продрогнув, домой побежал.
Небо, видно, сегодня не сжалится:
Только дождь перестал, —
Снег лепешками крупными
валится!
Город начал пустеть — и пора!
Только бедный да пьяный
шатаются,
Да близ медной статуи Петра
У присутственных мест
дожидаются
Сотни сотен крестьянских дровней
И так щедро с небес посыпаются,
Что за снегом не видно людей.
Чу! рыдание баб истеричное!
Сдали парня?.. Жалей не
жалей,
Перемелется — дело привычное!
Злость-тоску мужики на лошадках
сорвут,
Коли денежки есть —
раскошелятся
И кручинушку штофом запьют,
А слезами-то бабы поделятся!
По ведерочку слез на сестренок
уйдет,
С полведра молодухе достанется,
А старуха-то мать и без меры
возьмет —
И без меры возьмет — что
останется!

10 февраля 1859.

* * *

Говорят, еще день. Правда, я не
видал,
Чтобы месяц свой рог золотой
показал,
Но и солнца не видел никто.
Без его даровых, благодатных
лучей
Золоченые куполы пышных
церквей
И вся роскошь столицы —
ничто.
Надо всем, что ни есть, — над
дворцом и тюрьмой,
И над медным Петром, и над
грозной Невой,
До чугунных коней на воротах
застав
(Что хотят ускакать из столицы
стремглав) —
Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый,
гнилой,
Некрасив в эту пору наш город
большой,
Как изношенный фат без
румян...
Наша улица — улиц столичных
краса,
В ней дома все в четыре этажа;
Не лазурны над ней небеса,
Да зато процветает продажа.
Сверху до низу вывески сплошь
Покрывают громадные стены,
Сколько хочешь тут немцев
найдешь —
Из Берлина, из Риги, из Вены.
Все соблазны, помилуй нас бог!
Там перчатка с руки великана,
Там торчит Веллингтонов
сапог,
Там с открытою грудью Диана...
Даже ты, Варсонофий Петров,
Подле вывески „делают гробы“
Прицепил полуженые скобы
И другие снаряды гробов,
Словно хочешь сказать: „Друг-
прохожий!
Соблазнись — и умри поскорей!“
Человек ты, я знаю, хороший,
Да многонько родил ты детей —
Непрестанные нужны заказы...
Ничего! обеспечен твой труд!

Бедность гибельней всякой заразы —
В нашей улице люди так мрут,
Что по ней, то и знай, на кладбища,
Как в холеру, тащат мертвецов:
Холод, голод, сырые жилища —
Не робей, Варсонофий Петров!..
В нашей улице жизнь трудовая:
Начинают, ни свет, ни заря,
Свой ужасный концерт, припевая,
Токари, резчики, слесаря,
А в ответ им гремит мостовая!
Дикий крик продавца-мужика,
И шарманка с пронзительным воем;
И кондуктор с трубой и войска,
С барабанным идущие боем,
Понуканье измученных кляч,
Чуть живых, окровавленных, грязных,
И детей раздирающий плач
На руках у старух безобразных, —
Все сливается, стонет, гудет,
Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет.
Давка, говор... (о чем голоса? —
Все о деньгах, о нужде, о хлебе...).
Смрад и копоть. Глядишь в небеса,
Но отрады не встретишь и в небе.
Этот омут хорош для людей,
Расставляющих ближнему сети,
Но не жалко ли бедных детей?
Вы зачем тут, несчастные дети?
Неужели душе молодой
Уж знакомы нужда и неволя?
Ах, уйдите, уйдите со мной
В тишину деревенского поля!
Не такой там услышите шум,
Там шумит созревающий колос...
Солнце, воздух, цветов аромат —
Это всех поколений наследство;
За пределами душных оград
Проведете вы сладкое детство.

Н. А. Некрасов.

Февраль — март 1859.

---

1. Какие явления жизни привлекают внимание поэта на протяжении всего дня?

2. Сравните Петербург Некрасова и Пушкина, сопоставьте параллельные места: улица, движение войск, у Медного Всадника, картины природы.

3. Как зарисован чиновник у Пушкина и у Некрасова (у кого с большими подробностями, более сложной душевной жизнью? Судьба обоих чиновников)?

4. Каково отношение обоих поэтов к Петербургу?

5. У кого из них сильнее подчеркнуты противоречия „роскоши" и нищеты городской жизни?

6. Соберите поэтические краски в некрасовских зарисовках Петербурга (эпитеты, сравнения) и определите их тон; есть ли соответствие с содержанием?

7. Найдите гиперболы у Некрасова и сравните с гиперболизмом „Медного Всадника".

8. Познакомьтесь с биографией Некрасова и уясните, какие факты его юношеской жизни в Петербурге содействовали развитию в нем чувства симпатии и интереса к городской бедноте?

9. Об'ясните смысл эпиграфа в связи с произведением.

---

13. Ревизор[1].

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

Народная пословица.

Действующие лица.

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.
Анна Андреевна, жена его.
Марья Антоновна, дочь его.
Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.
Жена его.
Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.
Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.
Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.
Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский } городские помещики.
Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.
Осип, слуга его.
Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.
Федор Андреевич Люлюков, Иван Лазаревич Растаковский, Степан Иванович Коробкин } отставные чиновники, почетные лица в городе.
Степан Ильич Уховертов, частный пристав.
Свистунов, Пуговицын, Держиморда } полицейские.
Абдулин, купец.
Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.
Жена унтер-офицера.
Мишка, слуга городничего.
Слуга трактирный.
Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

---

[1] Комедия „Ревизор“ имела длинную историю написания: оконченная в декабре 1835 г., она имела две редакции, отличные одна от другой; печатный текст 1836 года во многом не походил на сценический, и оба текста представляли значительные отмены сравнительно с ранними редакциями. В 1841 году вышло второе издание „Ревизора“, измененное сравнительно с текстом первого издания 1836 года. В 1842 году Гоголь закончил последнюю обработку комедии, и это 3-е издание „Ревизора“ стало с тех пор

Характеры и костюмы.

Замечания для господ актеров.

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый, по-своему, человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно серьезен, несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо-развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае высказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится, что отвечать ей, но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит серьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить, и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко

основным; в нашей книге текст дан по этой окончательной редакции. Подробно изложена творческая история комедии „Ревизор“ в серии „Русские и мировые классики“ (Гиз., под общей редакцией А. В. Луначарского и Н. К. Пиксанова), статья Н. Л. Бродского.

выше и серьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений: оригиналы их всегда почти находятся перед глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения этих замечаний может исчезнуть весь эффект.

Действие первое.

Комната в доме городничего.

Явление I.

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как, ревизор?

Артемий Филиппович. Как, ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот-те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича

Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: „Любезный друг, кум и благодетель“ *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)*... „и уведомить тебя“. А! вот: „спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...“ *(остановясь)* ну, здесь свои... „то советую тебе взять предосторожность: ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дня я...“ Ну, тут уж пошли дела семейные: „сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрипке...“ и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь не даром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром, что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да. И тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по

вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Не хорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович *издает звук, отчасти похожий на букву* и *и несколько на* е.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите — приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь, и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже не хорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович *издает тот же звук.*

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать; он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим

богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим — все взятки.

Аммос Федорович. Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально, неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого чорт знает, что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на-днях, когда зашел, было, в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет

с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покаместь говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и, что силы есть, хвать стулом об пол! Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: „Как хотите, для науки я жизни не пощажу".

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься; всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: „А, вы здесь, голубчики! А кто", скажет, „здесь судья?" — „Ляпкин-Тяпкин". — „А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?" — „Земляника". — „А подать сюда Землянику!" Вот что худо!

Явление II.

Те же и почтмейстер

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? — Война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! Я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто, нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну, что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся; а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону)*, я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или, просто, переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то, чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше чем в „Московских Ведомостях“!

Городничий. Ну, что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однакож, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно: один поручик пишет к приятелю, и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: „Жизнь моя, милый друг, течет“, говорит, „в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет“... с большим, большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то, без всяких рассуждений, задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если б вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел-было к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас, собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того, и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь — и шасть...

Явление III.

Те же, Добчинский и Бобчинский *(оба входят запыхавшись).*

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский *(перебивая).* Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский *(перебивая).* Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтобы Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул. *(Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.)* Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте; я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с — так я тогда же забежал... уж пожалуйста не перебивайте, Петр Иванович! Я уже все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский *(перебивая).* Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей, Авдотьи, которая, не знаю зачем-то, была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский *(перебивая).* За боченком для французской водки.

Бобчинский *(отводя его руки)*. За боченком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: „Зайдем", говорит, „в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение..." да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... „А в трактир", говорит, „привезли теперь свежей семги, так мы закусим". Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский *(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье...

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: „Здесь что-нибудь не спроста-с". Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с — трактирщика Власа: у него жена три недели тому назад родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: „Кто", говорит, „этот молодой человек?" А Влас и отвечает на это: „Это", говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не расскажете: вы пришепетываете, у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... „Это", говорит, „молодой человек, чиновник", да-с, „едущий из Петербурга, а по фамилии", говорит, „Иван Александрович Хлестаков-с, а едет", говорит, „в Саратовскую губернию и", говорит, „престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить". Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. „Э!" говорю я Петру Ивановичу...

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал „э!".

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. „Э!" сказали мы с Петром Ивановичем. „А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?". — Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию, — ревизор.

Городничий *(в страхе)*. Что вы, господь с вами! Это не он.

Добчинский. Он! И денег не платит, и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу, он... Такой наблюдательный: все осмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! Поношенье! *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? Ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге „Деяния Иоанна Масона“...

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось, бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый чорт; а молодой — весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приятно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда. *(Квартальный бежит впопыхах.)*

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габер-суп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда. *(Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.)*

Явление IV.

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или, нет, постой! Ступай, принеси... Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий *(хватаясь за голову)*. Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий *(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эк, шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... чорт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, —

смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину берешь! Ступай!

Явление V.

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите ради бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит, для благоустройства, на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно, чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! Я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или, просто, забор — чорт их знает откудова, и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: „Всем довольны, ваше благородие"; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О, боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий *(бросая коробку).* Коробка, так коробка. Чорт с ней! Да если спросят: отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую, назад тому пять лет, была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. *(Все уходят.)*

Явление VI.

Анна Андреевна и **Марья Антоновна** *вбегают на сцену.*

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой... *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а все за тобой. И пошла копаться: „Я булавочку, я косынку". *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? Ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости, после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: „Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас". Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он, просто, тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно, чрез два часа мы все узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали! Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай, сейчас! Слышишь, побеги, расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие:

черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

Действие второе.

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

Явление I.

Осип *лежит на барской постели.*

Осип. Чорт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот, не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! *(Дразнит его.)* „Эй, Осип, ступай, посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед". Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше, возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: „Почтенный!" на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот, как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, чорт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь: всякий тебе говорит *вы*. Наскучило итти — берешь извозчика и сидишь себе, как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как

теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — ни по чем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

Явление II.

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это *(отдает фуражку и тросточку)*. А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена!

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков *(ходит по комнате)*. Посмотри, там, в картузе, табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец, говорит громким и решительным голосом)*. Послушай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков *(голосом вовсе не решительным, очень близким к просьбе)*. Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак?

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не платит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, этаких шаромыжников и подлецов видали.

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказать мне все это.

Осип. Говорит: „Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя". „Я, говорит, шутить не буду, а прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму".

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай, скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, чорт с тобой! позови хозяина. *(Осип уходит.)*

Явление III.

Хлестаков *(один)*.

Хлестаков. Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит — нет, чорт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и все обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишка! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж, просто, подло. *(Насвистывает сначала из „Роберта", потом: „Не шей ты мне, матушка", а наконец — ни се, ни то.)* Никто не хочет итти.

Явление IV.

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно.

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Славу богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так пожалуйста поторопи, чтоб поскорее — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел итти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется: я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: „Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее". Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

Явление V.

Хлестаков *(один)*.

Хлестаков. Это скверно, однакож, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты, а хорошо бы, чорт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чортом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились! „Кто такой, что такое?" А лакей входит *(вытягиваясь и представляя лакея)*: „Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?" Они, пентюхи, и не знают, что такое значит „прикажете принять". К ним если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: „Сударыня, как я..." *(потирает руки и подшаркивает ножкой)*. Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

Явление VI.

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга *(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это в самом деле такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах, ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, чорт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнакновенно какие! они уж, известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты, просто, воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков *(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни

один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Чорт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи! чем они кормят? И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно, как деревянная кора — ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы!.. и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга *убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.*

Явление VII.

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип *(входит)*. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает об вас.

Хлестаков *(испугавшись)*. Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж? Если благородным образом, я пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он? как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямляется.)* Да я ему прямо скажу: „Как вы смеете? Как вы...“ *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

Явление VIII.

Хлестаков, городничий и Добчинский.

(Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.)

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!

Хлестаков *(кланяется)*. Мое почтение!..

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу́... Мне пришлют из деревни. *(Бобчинский выглядывает из дверей.)* Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он, чорт знает, чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням... чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий *(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уже не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то-есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я...

Городничий *(в сторону)*. О, господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!

Хлестаков *(храбрясь)*. Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду. Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? что вы?

Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека!

Хлестаков. Нет, я не хочу. Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен итти в тюрьму, вот прекрасно! *(Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.)* Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий *(дрожа)*. По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них... *(В размышлении.)* Я не знаю, однакож, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь,

до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий *(в сторону)*. О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери, кто хочет! Не знаешь, с какой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать, не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы, точно, имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий *(поднося бумажки)*. Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков *(принимая деньги)*. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий *(в сторону)*. Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему, вместо двухсот, четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип! *(Осип входит.)* Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие; а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... *(Добчинскому.)* Садитесь! *(Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.)*

Городничий *(в сторону)*. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, кроме должности, еще, по христианскому человеколюбию, хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием — и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий *(в сторону)*. Да, рассказывай! не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро! *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот, относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий *(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика-отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий *(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем придавил бы его. Ну, да постой! ту у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда, неизвестно еще, когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит, от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться! Никак даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь — не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я не достоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет! недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уж такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо, если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

Явление IX.

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый **Осипом**.

(Бобчинский выглядывает в дверь.)

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори: сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. — Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться: он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги. Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.)*

Явление X.

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов. *(Бобчинский выставляет голову в дверь.)*

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы осмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий *(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий *(тихо Добчинскому)*. Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Земляники, а другую жене. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А, впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропу-*

скает вперед Хлестакова и следует за ним; но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.) Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как, чорт знает, что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский. Занавес опускается.)*

Действие третье.

Комната первого действия.

Явление I.

Анна Андреевна, Марья Антоновна *(стоят у окна в тех же самых положениях).*

Анна Андреевна. Ну, вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет! еще нужно копаться... Не слушать бы ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, минуты через две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна притти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну, да, идет. Кто ж это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? А? Это однакож досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька!

Анна Андреевна. Какой Добчинский! Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй, вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну, что, где они? А? Да говорите же оттуда, все равно. Что? Очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

Явление II.

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну, что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу?

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как.

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все не хорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однакож, вздор. Расскажите: каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек, лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик. „Извольте“, говорит, „я поеду, и туда, туда...“ *(размахивает руками)* так это все славно. „Я“, говорит, „и написать, и почитать люблю; но мешает, что в комнате“, говорит, „немножко темно“.

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* „Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное; но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...“ *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге, по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* „Но, уповая на милосердие божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении, у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего; а не то, я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...“ Ах, боже мой! Это, однакож, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский *(бежит и кричит в дверь)*. Мишка! Мишка! Мишка! *(Мишка входит.)*

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди, сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

Явление III.

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом,

и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет; я, что угодно, даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценой.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает, что̀ такое. *(По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.)*

Явление IV.

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж это, больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть!

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вот, как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простого-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть. *(Оба несут чемодан в боковую комнату.)*

Явление V.

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит **Хлестаков**; *за ним* **городничий**, *далее* **попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский**, *с пластырем на носу.* **Городничий** *указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и поднимают ее, толкая друг друга впопыхах.*

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то-есть, пользе; а здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностию заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович *(подбегая)*. Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, не много.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все, как мухи, выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах: но верите ли, что, даже

когда ложишься спать, все думаешь: „Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?!“ Наградит ли оно, или нет, конечно, в его воле, по крайней мере я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий *(в сторону)*. Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно, и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападает, что, просто, плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич *(в сторону)*. А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно однакоже... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда, конечно... Нет, не говорите; иногда очень заманчиво поиграть.

Явление VI.

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков *(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков *(рисуясь)*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что, наконец, сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comprenez vous, в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за все...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что̀ за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: „Приходи, братец, обедать!“ Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только—тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: „Позвольте, Иван Александрович, я вам“, говорит, „сапоги почищу“. *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе.
Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.
Артемий Филиппович. Мы постоим.
Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться. *(Городничий и все садятся.)* Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь, стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь,

уж и говорят: „Вон“, говорят, „Иван Александрович идет!“ А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: „Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего“.

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну, что, брат Пушкин?“—„Да так, брат“, отвечает бывало: „так как-то все...“ Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишите? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма. Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: „Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь“. Думаю себе: „Пожалуй, изволь, братец“. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, Фрегат Надежды и Московский Телеграф... все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и Юрий Милославский ваше сочинение.

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это г. Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну, вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах, да, это правда: это, точно, Загоскина; а есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уже и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто, не говорите. На столе, например, арбуз—в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на

пароходе приехал из Парижа; откроют крышку—пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играя, что, просто, ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж—скажешь только кухарке: „На, Маврушка, шинель...“ Что ж я вру—я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно ж... ж... ж... Иной раз и министр... *(Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.)* Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство. Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал—куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь—просто, чорт возьми! После видят, нечего делать—ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение, я спрашиваю? „Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!“ Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате; хотел отказаться, но, думаю, дойдет до государя, ну, да и послужной список тоже... „Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю“, говорю: „так и быть“, говорю: „я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни! Уж у меня ухо востро! Уж я...“ И точно: бывало, как прохожу через департамент—просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист. *(Городничий и прочие трясутся от страха; Хлестаков горячится сильнее.)* О! я шутить не люблю; я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: „Я сам себя знаю, сам“. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками).*

Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить).* А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(быстрым отрывистым голосом).* Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(таким же голосом).* Не разберу ничего, все вздор.

Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. Вот и комната, и все, что нужно.

Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! Лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

Явление VII.

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет; а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем, расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка! *(Оба уходят.)*

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу)*. Страшно, просто; а отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну, что, как проспится, да в Петербург махнет донесение? *(Уходят в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня.

Явление VIII.

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! Я, просто, без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну, вот! боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня,

и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. „А", говорит себе: „дай уж посмотрю на нее!"

Явление IX.

Те же и городничий.

Городничий *(входит на цыпочках)*. Чш... ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну, что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь, не прилгнувши, не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... чорт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто, как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видела в нем образованного светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам все — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(посматривает на дочь)*.

Городничий *(один)*. Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка! позови квартальных, Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку — ну, точно муха с подрезанными крыльями А ведь долго крепился давеча в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

Явление X.

Те же и Осип. *Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.*

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий *(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну, что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну, что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип *(в сторону)*. А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну, что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, боже мой, вы все с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну, что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтобы все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну, что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит?..

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну, что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато, — так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип *(принимая деньги)*. А покорнейше благодарю, сударь! Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?..

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то-есть, что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. — Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: „Что, Осип, хорошо тебя угостили?“ — „Плохо, ваше высокоблагородие!“ — „Э“, говорит, „это, Осип, нехороший хозяин. Ты“, говорит, „напомни мне, как приеду“. — „А“. думаю себе *(махнув рукою)*, „бог с ним! я человек простой“.

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина! *(Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.)*

Городничий. Чш! *(поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса).* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только, да послушай — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг...

Явление XI.

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас чорт таскает?

Держиморда. Был по приказанию...

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как гаркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит! *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме,

требуй. *(Осип уходит.)* А вы — стоять на крыльце и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

Действие четвертое.

Та же комната в доме городничего.

Явление I.

Входят осторожно почти на цыпочках: **Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский,** в полном параде и мундирах. Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович *(строит всех полукружием).* Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут. *(Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.)*

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно, что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну, да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, чорт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: „вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие".

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слыхали! Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа! Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня, просто, и души нет, и язык, как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке...

Все *(пристают к нему)*. Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа! *(В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания.)*

Голос Бобчинского. Ой! Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

(Выхватываются несколько восклицаний ай! ай! *наконец, все выпираются, и комната остается пуста.)*

Явление II.

Хлестаков *(один, выходит с заспанными глазами).*

Хлестаков. Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком, в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса. А дочка городничего очень не дурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

Явление III.

Хлестаков и судья.

Судья *(входя и останавливаясь, про-себя)*. Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.)* Имею честь

представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Судья. С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?

Судья. За три трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону).* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна 3-й степени уж не так.

Судья *(высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону).* Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович *(потерявшись и роняя на пол ассигнации).* Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович *(дрожа всем телом).* Никак нет-с! *(В сторону.)* О, боже! вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков *(подымая).* Да, это деньги.

Аммос Федорович *(в сторону).* Ну, все кончено — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович *(поспешно).* Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, пресвятая матерь!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... *(Приподымается со стула. Вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет никакого приказания?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности; нет, ничего. Покорнейше благодарю.

Аммос Федорович *(раскланиваясь и уходя, в сторону).* Ну, город наш!

Хлестаков *(по уходе его).* Судья — хороший человек.

Явление IV.

Хлестаков и почтмейстер (*входит, вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу*).

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим! Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну, что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бон-тон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. (*В сторону.*) А он, однако ж, ничуть не горд: обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно — не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. (*Глядя в глаза ему, говорит про себя.*) А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. (*Вслух.*) Какой странный со мной случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. (*Встает, вытягивается и придерживает шпагу.*) Не смею долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

(*Почтмейстер раскланивается и уходит.*)

Хлестаков (*раскуривая сигарку*). Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек; по крайней мере услужлив. Я люблю таких людей.

Явление V.

Хлестаков и Лука Лукич, *который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух:* „Чего робеешь?“

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу).* Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич *(про себя, в нерешимости).* Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что̀ в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка — просто, ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич *пробует закурить и весь дрожит.*

Хлестаков. Да не с того конца!

Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя).* Чорт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич *находится в совершенном недоумении, что сказать.*

Хлестаков. Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что̀ говорю.

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич *молчит.*

Хлестаков. А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... сият... *(В сторону.)* Продал, проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах, точно, есть что-то такое, что̀ внушает робость. По крайней мере я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Лука Лукич (*хватаясь за карманы, про себя*). Вот-те штука, если нет! Есть, есть! (*Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.*)

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич (*вытягиваясь и придерживая шпагу*). Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич (*летит вон почти бегом и говорит в сторону*). Ну, слава богу! авось не заглянет в классы!

Явление VI.

Хлестаков и Артемий Филиппович, *вытянувшись и придерживая шпагу.*

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я,— признаюсь, это моя слабость,—люблю хорошую кухню. — Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. (*Помолчав.*) Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. (*Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.*) Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении: посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведение, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества, я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик Добчинский, которого вы изволили видеть, и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак, люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же с! пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

Артемий Филиппович. То-есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков *(провожая)*. Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста и в другое тоже время... Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй, вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

Явление VII.

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр, Иванов сын, Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр, Иванов сын, Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Славу богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Добчинский. Денег? Как денег?

Хлестаков. Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну, если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский *(шаря в карманах)*. У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский *(смотря в бумажник)*. Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей... это все равно. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака...

Хлестаков. Да?

Добчинский. То-есть, оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то-есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется, это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадется ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпроваживает их.)*

Явление VIII.

Хлестаков *(один).*

Хлестаков. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип! подай мне бумаги и чернил! *(Осип выглянул из дверей, произнесши: „сейчас".)* А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! посмотрим, кто кого!

Явление IX.

Хлестаков и Осип *(с чернилами и бумагою).*

Хлестаков. Ну, что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава Богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков. А что?

Осип. Уезжайте отсюда! Ей-богу, уже пора.

Хлестаков *(пишет)*. Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну, и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час: какой-нибудь другой наедет... ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..

Хлестаков *(пишет)*. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее; ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков *(пишет)*. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо, пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтобы лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому, чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков *(пишет)*. Хорошо, принеси только свечу.

Осип *(выходит и говорит за сценой)*. Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег, да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не платит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков *(продолжает писать)*. Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он, ведь, тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип *приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды:* Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать.

Хлестаков *(дает Осипу письмо)*. На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит. *(Шум увеличивается.)*

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип *(глядя в окно)*. Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков *(подходя к окну)*. А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажите, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут. *(Осип уходит.)*

Хлестаков *принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.* „Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...“ Чорт знает, что: и чина такого нет!

Явление X.

Хлестаков и купцы *(с кузовом вина и сахарными головами).*

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости.

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: „Ах ты татарин!“ Ей-богу! Если бы, то-есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадется, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: „Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мне“. Ну, и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То-есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь!

Хлестаков. Да это, просто, разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит

запереть двери. „Я тебя“, говорит, „не буду“, говорит, „подвергать телесному наказанию, или пыткой пытать — это“, говорит, „запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!“

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это, просто, в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его — все будет хорошо, лишь бы, то-есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте; я не беру совсем никаких взяток. Вот, если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста, — ну, тогда совсем другое дело: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.

Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги)*. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы *(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О, нет, я взяток никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все, все пойдет в прок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство! Если уже вы, то-есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь. *(Купцы уходят. Слышен голос женщины*: Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!)

Хлестаков. Кто там? *(Подходит к окну.)* А что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать.

Хлестаков *(в окно)*. Пропустить ее.

Явление XI.

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша *(кланяясь в ноги)*. Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу, на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей бог его и на том, и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки, так он ко мне. „На что", говорит, „тебе муж? он уж тебе не годится". Да я то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! „Он", говорит, „вор; хоть он теперь и не украл, да все равно", говорит, „он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты". Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпроваживает старуху.)*

Слесарша *(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня, да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Ступайте! ступайте! я распоряжусь. *(В окно высовываются руки с просьбами.)*

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, чорт возьми! Не впускай, Осип!

Осип *(кричит в окно).* Пошли, пошли! Не время, завтра приходите! *(Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других).*

Осип. Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому в брюхо руками и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

Явление XII.

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков *(рисуется).* Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были итти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков *(рисуется).* А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было итти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы все этакое говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь, этакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: „О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..“ ну, и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... *(Отодвигает стул.)*

Хлестаков. Отчего ж вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна *(отодвигаясь)*. Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков *(придвигаясь)*. Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна *(отодвигается)*. Да к чему ж это?

Хлестаков *(придвигаясь)*. Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна *(смотрит в окно)*. Что это, так, как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно)*. Это сорока.

Марья Антоновна *(встает в негодовании)*. Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков *(удерживая ее)*. Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно, от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... *(Силится уйти.)*

Хлестаков *(продолжая удерживать ее)*. Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил: Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения.

(Падает на колени.) Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

Явление XIII.

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидя Хлестакова на коленях).* Ах, какой пассаж!

Хлестаков *(вставая).* А, чорт возьми!

Анна Андреевна *(дочери).* Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь, прочь, прочь! И не смей показываться на глаза. *(Марья Антоновна уходит в слезах.)* Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков *(в сторону).* А она тоже очень аппетитна. очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем не чист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях, я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: „Законы осуждают". Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу.

Явление XIV.

Те же и Марья Антоновна *(вдруг вбегает).*

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну, что ты? к чему? зачем? Что за ветренность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну, что ты нашла такого удивительного? Ну, что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не по-

хоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна *(сквозь слезы)*. Я, право, маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что́ тебе глядеть на них! не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков *(схватывая за руку дочь)*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна *(с изумлением)*. Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну, вот видишь, дура, ну, вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Ну, вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия.

Марья Антоновна. Не буду, маменька; право, вперед не буду.

Явление XV.

Те же и городничий *(впопыхах)*.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и на половину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот этакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ея.

Хлестаков. Да, я, точно, прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе!

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я, чорт знает, что готов...

Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан, в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом! Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков *(подходит с Марьей Антоновной)*.

Городничий. Да благословит вас бог! а я не виноват! *(Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.)* Что за чорт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених. *(Вскрикивает, подпрыгивая от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, горсдничий! Вона, как дело-то пошло!

Явление XVI.

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то-есть... Вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это... На одну минуту только, на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О, нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам.

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то-есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками?

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна! *(Выходят.)*

ЗА СЦЕНОЙ.

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей, Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший, — что по голубому полю, персидский, скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или после-завтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо! Славно будет! *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй, вы, залетные! *(Колокольчик звенит, занавес опускается.)*

Действие пятое.

Та же комната.

Явление I.

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... фу, ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, чорт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы! Эй, кто там? *(Входит квартальный.)* А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня! Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтобы знали: что вот, дескать, какую честь бог послал городничему, что выдает дочь свою — не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, чорт возьми! Уж когда торжество, так торжество. *(Квартальный уходит.)* Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере, так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь я думаю, уже городничество тогда к чорту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество.

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за-панибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, чорт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж, конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: „лошадей!“ И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой городничий! Хе, хе, хе! *(заливается и помирает со смеху)*. Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим; а там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да; там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице, и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти, и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

Явление II.

Те же и купцы.

Городничий. А! здорово, соколики!

Купцы *(кланяясь)*. Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы морские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Анна Андреевна. Ах, боже мой! какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий *(с неудовольствием)*. А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас! Обманываете народ... Сделаешь подряд с казною — на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом жертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это! Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец, его не тронь. „Мы“, говорит, „и дворянам не уступим“. Да дворянин... ах ты рожа! дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, „Отче наш“ не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу, ты, какая невидаль! Оттого, что ты, шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы *(кланяясь)*. Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. — Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы *(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. „Не погуби“! Теперь: „не погуби“! а прежде что? Я бы вас... *(махнув рукой)*. Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь, смотри, держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с богом! *(Купцы уходят.)*

Явление III.

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях)*. Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевне.)* Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский *(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы, и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

Явление IV.

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

Явление V.

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: „Анна Андреевна!“ потом к Марье Антоновне, говоря: „Марья Антоновна!“ **Бобчинский и Добчинский** (*проталкиваются*).

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить.

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна! *(Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.)*

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать, очень забавно будете проводить время.

Бобчинский *(перебивая)*. Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с! *(показывает рукою)*, чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!

Явление VI.

Еще несколько гостей, *подходящих к ручкам*, Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь...

Жена Луки Лукича. *(Бежит вперед.)* Поздравляю вас, Анна Андреевна! *(Целуются.)* А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: „Анна Андреевна выдает дочку". — „Ах, боже мой"! думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: „Послушай, Луканчик; вот какое счастие Анне Андреевне!" „Ну", думаю себе, „слава богу!" И говорю ему: „Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне..." „Ах, боже мой!" думаю себе: „Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела", и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: „Отчего ты, Настенька, рыдаешь?" — „Луканчик", говорю, „я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются".

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев! *(Гости садятся.)*

Явление VII.

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета.

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа! *(Гости усаживаются.)*

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то-есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил Говорит: „Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам". И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! — „Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества".

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! — „Я, Анна Андреевна, изумляюсь". В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: „Мы никак не смеем надеяться на такую честь", он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: „Анна Андреевна! не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам, не то, я смертью окончу жизнь свою".

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. „Застрелюсь, застрелюсь!" говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастию! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал за чем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день, по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает, поздравления сливаются в один гул.)* Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает; поздравительный гул; слышнее других голоса:)*

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли бог на сорок-сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Чорт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, чорт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович (*в сторону*). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович (*в сторону*). Эка, чорт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. (*Обращаясь к нему.*) Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так, сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов, с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

Явление VIII.

Те же и почтмейстер (*впопыхах, с распечатанным письмом в руке*).

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как, не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма.

Городничий. Что вы, что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: „в Почтамтскую улицу". Я так и обомлел. „Ну", думаю себе, „верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство". Взял, да и распечатал.

Городничий. Как же вы?

Почтмейстер. Сам не знаю; неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эштафетой; но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу, слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: „Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица"; а в другом словно бес какой шепчет: „Распечатай, распечатай, распечатай!" И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он по-вашему такое?

Почтмейстер. Ни се, ни то; чорт знает, что такое!

Городничий (*запальчиво*). Как ни се, ни то? Как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да еще и чорт знает чем? Я вас под арест...

Почтмейстер. Кто? вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо?

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер (*читает*). „Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел

уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шерамыжку, и как один раз было кондитер схватил меня за воротник, по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы, сколько угодно. Оригиналы страшные: от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых: городничий — глуп, как сивый мерин...“

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер *(показывает письмо)*. Читайте сами.

Городничий *(читает)*. „Как сивый мерин“. Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер *(продолжая читать)*. „Городничий — глуп, как сивый мерин...“

Городничий. О, чорт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер *(продолжая читать)*. Хм... хм... хм... хм... „сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...“ *(Оставляя читать.)* Ну, тут он и обо мне тоже неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, чорт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте все!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* „Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев, должно быть, так же, подлец, пьет горькую“.

Почтмейстер *(к зрителям)*. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь: больше ничего!

Артемий Филиппович *(продолжая читать)*. „Надзиратель над богоугодным заведе... и... и...“ *(заикается)*.

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович *(не давая письма)*. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать, я и сам прочитаю: далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, все читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо. *(Коробкину.)* Читайте.

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот позвольте... *(закрывает пальцем).* Вот отсюда читайте. *(Все приступают к нему.)*

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, все читайте!

Коробкин *(читая).* „Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке".

Артемий Филиппович *(к зрителям).* И не остроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин *(продолжая читать).* „Смотритель училищ протухнул наскозь луком".

Лука Лукич *(к зрителям).* Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович *(в сторону).* Слава богу, по крайней мере обо мне нет!

Коробкин *(читает).* „Судья..."

Аммос Федорович. Вот тебе на!.. *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и чорт ли в нем: дрянь этакую читать!

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет, уж читайте!

Коробкин *(продолжает).* „Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон..." *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А чорт его знает, что значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин *(продолжая читать).* „А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санктпетербург, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже, направо".

Одна из дам. Какой реприманд неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу: какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! *(Машет.)*

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; чорт угораздил дать и вперед предписание.

Жена Коробкина. Вот уж, точно, вот уж беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, чорт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает)*. Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, доспода? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по лбу)*. Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! *(махнув рукой)* нечего и говорить про губернаторов...

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Городничий *(в сердцах)*. Обручился! Кукиш с маслом—вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вот он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чортово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да чорту в подкладку! в шапку туда ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол.)*

(После некоторого молчания.)

До сих пор не могу притти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну, что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор, ревизор! Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

Артемий Филиппович *(расставляя руки)*. Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, чорт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил,—вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали, как сумасшедшие, из трактира: „Приехал, приехал и денег не платит...“ Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас чорт побрал с вашим ревизором и рассказами.

Городничий. Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие! *(Все обступают их.)*

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

Явление последнее.

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе. Он остановился в гостинице.

(Произнесенные слова поражают, как громом, всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.)

Немая сцена.

Городничий посередине в виде столба с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь, с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у

самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: „Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!“ За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края, Добчинский и Бобчинский с устремившимся друг к другу движением рук, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Н. В. Гоголь.

1842 г.

Общие вопросы.

1. Почему городничий и чиновники так легко поверили письму?
2. Что было особенно страшного в ожидавшемся приезде ревизора?
3. Почему Добчинский и Бобчинский приняли Хлестакова за ревизора?
4. Почему им все поверили?
5. Как отнесся к известию Добчинского и Бобчинского городничий?
6. Как отнеслись к этому известию Марья Антоновна и Анна Андреевна?
7. Почему Хлестаков и городничий не понимали друг друга? (Действ. II, явл. VIII.) Какие чувства испытывали в этой встрече Хлестаков и городничий? Над чем мы смеемся?
8. Сравните этот смех со смехом, который вызывается падением Добчинского.
9. На основании различия в смехе определите различие между внешним и внутренним комизмом.
10. Каким представляется Хлестаков из монолога Осипа?
11. Каким вырисовывается он в 6 сцене III действия?
12. Как к его речам относились городничий и чиновники? Почему так?
13. А почему мы смеемся над ними?
14. Понимал ли Хлестаков, в сценах со взятками, за кого его принимают? А Осип?
15. Сознательно ли разыгрывал роль ревизора Хлестаков? Кто же его сделал ревизором? Кем же был одурачен городничий?
16. Исчезла ли хлестаковщина в наши дни?

Построение комедии.

1. Выделите сюжет комедии и кратко изложите ход событий по схеме: завязка действия, развитие его и развязка.
2. Одна ли развязка в пьесе? Отметьте первую и вторую развязку и укажите существеннейшую из них для основного замысла пьесы.
3. Какое значение имеет для развития действия развязка его, а также для изображения действующих лиц то обстоятельство, что за ревизора был принят случайный приезжий?

В чем бы изменилась вся пьеса, если бы на месте Хлестакова оказался настоящий ревизор? Могла ли бы тогда получиться комедия?

4. Какое значение для комедии имеет безнаказанность Хлестакова? Как изменился бы в противном случае смысл комедии: 1) по отношению к действующим лицам; 2) к общему значению комедии?

5. Перечислите все комические положения, в каких оказываются действующие лица пьесы. Укажите черты внутреннего и внешнего комизма в пьесе.

6. Проследите по V акту, как комическое положение городничего сменяется трагическим. Проследите развитие и заключительный момент этого трагического положения.

7. Какое значение имеет для основного смысла пьесы и характеристики действующих лиц подробное описание немой сцены?

Прочтите внимательно выдержку из „Предуведомления“, относящуюся к немой сцене: почему Гоголь придавал такое значение немой сцене?

Из „Предуведомления для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора“.

Последняя сцена „Ревизора“ должна быть особенно сыграна умно. Здесь уже не шутка, и положение многих лиц почти трагическое. Положение городничего всех разительней. Как бы то ни было, но увидеть себя вдруг обманутым так грубо и при том пустейшим, ничтожнейшим мальчишкой, который даже видом и фигурой не взял, будучи похож на спичку (Хлестаков, как известно, тоненький, прочие все толстые), — быть им обманутым: это не шуточное. Обмануться так грубо тому, который умел проводить умных людей и даже искуснейших плутов! Возвещение о приезде, наконец, настоящего ревизора для него громовый удар. Он окаменел. Распростертые его руки и закинутая назад голова остались неподвижны, и вокруг него вся действующая группа составляет в одно мгновенье окаменевшую группу в разных положениях.

Вся сцена есть немая картина, а потому должна быть так же составлена, как составляются живые картины. Всякому лицу должна быть назначена поза, сообразная с его характером, со степенью боязни его и с потрясением, которое должны произвести слова, возвестившие о приезде настоящего ревизора. Нужно, чтобы эти позы никак не встретились между собою и были бы разнообразны и различны; а потому следует, чтобы каждый помнил свою и мог бы вдруг ее принять, как только поразится его слух роковым известием. Сначала выйдет это принужденно и будет походить на автоматов; но потом, после нескольких репетиций, по мере того, как каждый актер войдет поглубже в положение свое, данная поза ему усвоится и станет естественной, принадлежащей ему. Деревянность и неловкость автоматов исчезнет, и покажется, как бы сама собой вышла онемевшая картина.

Сигналом перемены положений может послужить тот небольшой звук, который исходит из груди у женщин при какой-нибудь внезапности. Одни понемногу переходят в положение, данное для немой картины, начиная (переходить) в него уже при появлении вестника с роковым известием: это — которые меньше; другие вдруг — это те, которые больше поражены. Недурно первому

актеру оставить на время свою позу и посмотреть самому несколько раз на эту картину в качестве зрителя, чтобы видеть, что нужно ослабить, усилить, смягчить, дабы вышла картина естественней.

Картина должна быть установлена почти так: посредине городничий, совершенно онемевший и остолбеневший. По правую его руку жена и дочь, обращенные к нему с испугом на лице. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, весь бледный, как мел. По левую сторону городничего Земляника с приподнятыми кверху бровями и пальцами, поднесенными ко рту, как человек, который чем-то сильно обжегся. За ним судья, присевший почти до земли и сделавший губами гримасу, как бы говоря: „Вот тебе, бабушка и...“ За ними Добчинский и Бобчинский, уставивши глаза и разинувши рот, глядят друг на друга. Гости разделяются на две группы по обоим сторонам: одна соединяется в одно общее движение заглянуть в лицо городничего. Чтобы завязалась группа ловче и непринужденней, всего лучше поручить художнику, умеющему сочинять группы, сделать рисунок и держать рис...

Если только каждый из актеров вошел, хоть сколько-нибудь, во все положения ролей своих во все продолжение представления пьесы, то они выразят также и в этой немой сцене положение разительное ролей своих, увенчая этой сценой еще более совершенство игры своей. Если же они пребывали холодны и натянуты во время представления, то останутся так же и холодны и натянуты, как здесь, с тою разницей, что в этой немой сцене еще более обнаружится их неискусство.

Н. В. Гоголь.

---

1. Какие классы общества представлены в комедии?
2. Определите классовое происхождение героев комедии, тщательно просмотрев текст пьесы.
3. Определив взаимоотношение чиновников (городничего и судьи, городничего и Хлестакова и т. п.), укажите разницу в их положении и значении в городе.
4. Как представлено в комедии купечество и гражданство: выявите их взаимоотношение с чиновным дворянством.
5. Соберите черты провинциального чиновничества, изображенного в комедии:
   а) отношение их к службе;
   б) степень их образованности и интересы;
   в) их нравственные понятия.
6. По каким признакам чиновники приняли Хлестакова за ревизора и что в этом характерно для чиновничества?
7. Соберите по комедии черты административного произвола. Что типичного в этих чертах для самодержавно-бюрократического строя жизни той эпохи?
8. Какое общественное значение имела комедия в свое время и насколько сохраняет его для наших дней?

Язык комедии.

1. Вдумайтесь в фамилии действующих лиц комедии: что в них выразительного?

2. Чем отличается язык городничего, судьи, Бобчинского, Хлестакова, Осипа? Как отзываются о речи судьи сами действующие лица? Как отзывается о речи городничего жена его?

3. Проследите, как изменяется речь городничего в зависимости от разных положений, в каких он оказывается (явл. 4-е и 5-е I действия; явл. 8-е II действия, в III, IV и V действиях).

4. Сравните следующие три редакции начала комедии и отметьте, в каком направлении шла переработка текста.

Первоначальный набросок: „Я пригласил вас, господа... вот и Антона Антоновича, и Григория Петровича, и Христиана Ивановича, и всех вас (для) того, чтобы сообщить одно чрезвычайно важное известие, которое, признаюсь вам, чрезвычайно меня потревожило. И вдруг сегодня неожиданное известие, что отправился из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать все, относящееся по части управления, и именно в нашу губернию, что уже выехал 10 дней назад тому и с часу на час должен быть, если не действительно уже находится инкогнито, в нашем (городе)...“

Первая печатная редакция: „Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Меня уведомляют, что отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в нашей губернии все, относящееся по части гражданского управления“.

Окончательная редакция: „Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...“

5. Сравните также следующие три редакции конца 2-го явления I действия:

Первый набросок: Городничий. „Я не знаю, у меня в ушах так, как будто сверчки трещат. Вам, Антон Антонович, не случалось этого?“

Первая печатная редакция: „У меня в ушах только и слышно, что инкогнито проклятое. Так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери — и войдет. .“

Окончательная редакция: „У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь — и шасть...“

Какая из редакций удачнее и почему?

6. Сравните первоначальный набросок и окончательную редакцию последнего монолога городничего.

Первоначальный набросок: Анна Андреевна. Как же, душа моя, ведь он совсем уж обручился с нашей дочерью? Ведь они и кольцами разменялись.

Городничий. А разве ты не видишь, что он сбухты барахты? У него все это... Пустейший человек! Ведь вот подлинно: бог захочет наказать — отнимет... Ну, что в нем было такого, чтоб можно было принять за вельможу или важного человека? Чорт знает что! Дрянь, вошь, щепка этакая, тоньше серной спички, мочалка! Ну, где были у вас глаза? Чтобы чорт побрал

всех нас вместе! Хоть бы имел он уже толщину в теле или важный вид какой-нибудь, а то дрянь — соплей перешибешь.

Прочитайте следующие выдержки из статьи Белинского, относящейся к разбору комедии „Ревизор".

„В основании „Ревизора" лежит та же идея, что и в „Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем": в том и другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую, под его художническим резцом, свою объективную действительность. Разница между ними не в основной идее, а в моментах жизни, схваченных поэтом, в индивидуальностях и положениях действующих лиц. Во втором произведении мы видим пустоту, лишенную всякой деятельности; в „Ревизоре" пустоту, наполненную деятельностью мелких страстей и мелкого эгоизма. Чтобы произведения его были художественны, т.-е. представляли собою особый, замкнутый в самом себе мир, он взял из жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец: в первом — ссору двух приятелей, во втором — ожидание и прием ревизора. Все чуждое этой ссоре и этому ожиданию и приему ревизора не могло войти в повесть и комедию."

„Многие находят страшною натяжкою и фарсом ошибку городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, тем более, что городничий — человек по-своему очень умный, т.-е. плут первого разряда. Странное мнение, или, лучше сказать, странная слепота, недопускающая видеть очевидность! Причина этого заключается в том, что у каждого человека есть два зрения — физическое, которому доступна только внешняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, как необходимость, вытекающую из сущности идеи. Вот, когда у человека есть только физическое зрение, а он смотрит им на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничего ему кажется натяжкою и фарсом. Представьте себе воришку-чиновника такого, каким вы знаете почтенного Сквозника-Дмухановского: ему виделись во сне две какие-то необыкновенные крысы, каких он никогда не видывал, — черные, неестественной величины — пришли, понюхали и пошли прочь. Для человека с таким образованием, как наш городничий, сны — мистическая сторона жизни, и чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее значение. Если бы после этого сна ничего важного не случилось, он мог бы и забыть его; но, как нарочно, на другой день он получает от приятеля уведомление, что „отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в губернии все, относящееся по части гражданского управления". Сон в руку! Суеверие еще более запугивает и без того запуганную совесть; совесть усиливает суеверие. Обратите особенное внимание на слова „инкогнито" и „с секретным предписанием."

„Многим характер Хлестакова кажется резок, утрирован, если можно так выразиться, его болтовня, напоминающая не любо—не слушай, врать не мешай, — изысканно неправдоподобною. Но это потому, что всякий хочет видеть и, следовательно, видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не то, которое существенно заключается в нем. Хлестаков является к городничему в дом после внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что он готовился итти в тюрьму, а между тем нашел деньги, почет, угощение, что он после невольного и мучительного голода наелся досыта, от чего и без вина можно притти в какое-то полупьяное состояние, а он еще и подпил. Как и отчего произошла эта внезапная перемена в его положении, отчего перед ним стоят все на вытяжку — ему до этого нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а он не умеет думать, он влечется, куда и как толкают его обстоятельства. В его полупьяной голове, при обремененном желудке, все передвоилось, все переместилось — и Смирдин с Брамбеусом, и „Библиотека“ с „Сумбекою“, и Маврушка с посланниками. Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая последнее слово фразы, он не помнит ее первого слова. Когда он говорил о своей значительности, о связях с посланниками, — он не знал, что он врет, и нисколько не думал обманывать: сказав первую фразу, он продолжал как бы против воли, как камень, толкнутый с горы, катится уже не посредством силы, а собственною тяжестью.“

„Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и при том не самим собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? Страх городничего, следовательно, он создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, — и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых страх создал этот фантом, а комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии — городничий, как представитель этого мира призраков.“

„Мы старались намекнуть на идею „Ревизора“, а вследствие ее не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедии, а через все это указать, по возможности, на целость (Totalität) пьесы, как особого, в самом себе замкнутого мира.“

В чем Белинский видит „целость пьесы, как особого, в самом себе замкнутого мира?“

Как Белинский доказывает правдоподобность ошибки городничего, принявшего Хлестакова за ревизора?

Почему он эту ошибку считает завязкой, интригой и развязкой комедии?

Как объясняет Белинский сцену вранья Хлестакова?

Кого Белинский считает главным героем комедии и почему?

14. Шинель.

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню, какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления, и что священное имя его произносится решительно всуе; а в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, *в одном департаменте* служил *один чиновник*, — чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный: низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, — ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она

хочет выбрать: Мокия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. „Нет“, подумала покойница, „имена-то все такие“. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте — вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. „Вот это наказание!“ проговорила старуха: „какие все имена! Я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий“. Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. „Ну, уж я вижу“, сказала старуха: „что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий“. Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: „Перепишите“, или: „Вот интересное, хорошенькое дельце“, или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право; он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: „Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?“

И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысиною на лбу, с своими проникающими словами: „Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?“ И в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат твой“. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно; нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмерно его рвению, давали ему награды, он к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его же товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание: именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: „Нет, лучше, дайте, я перепишу что-нибудь“. С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был — не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, вы-

ходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что́ делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его. Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, — и это случается чаще всего, — идет, просто, к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований,

отказов от обедов, гуляний,—словом, даже в то время, когда все чиновники разсеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента;—словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который, с четырьмя стами жалования, умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем. и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают на глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать, как можно скорее, пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать, как можно скорее, законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно, на спине и на плечах, она сделалась точная сердянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом

насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею, одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая,— надобно отдать справедливость, — была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом; и прежде всего бросился в глаза большой палец, очень

известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: „Не лезет, варварка! Уела ты меня, шельма этакая!“ Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под-куражем, или, как выражалась жена его: „осадился сивухой, одноглазый чорт“. В таком состоянии Петрович, обыкновенно, очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь — и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламывать чорт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил: „Здравствуй, Петрович!“ — „Здравствовать желаю, сударь!“ сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

„А я вот к тебе, Петрович, того!..“ Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: „Это, право, совершенно того...“, а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

„Что ж такое?“ — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукаков, спинки, фалд и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

„А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах совсем крепкое... оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко... видишь? Вот и все. И работы немного...“

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, — какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света, и опять покачал головою; потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал; вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал: „Нет, нельзя поправить: худой гардероб!“

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

„Отчего же нельзя, Петрович?“ сказал он почти умоляющим голосом ребенка: „ведь только всего, что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...“

„Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся“, сказал Петрович: „да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет“.

„Пускай ползет, а ты тотчас заплаточку“.

„Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что: поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится“.

„Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..“

„Нет“, сказал Петрович решительно: „ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать“.

При слове „новую“ у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. „Как же новую?“ сказал он, все еще как будто находясь во сне: „ведь у меня и денег на это нет“.

„Да, новую“, сказал с варварским спокойствием Петрович.

„Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?..“

„То-есть, что будет стоить?“

„Да“.

„Да три полсотни слишком надо будет приложить“, сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

„Полтораста рублей за шинель!“ вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, — вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

„Да-с“, сказал Петрович: „да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу, да пустить капюшон на шелковой подкладке, так и в двести войдет“.

„Петрович, пожалуйста“, говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов: „как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила“.

„Да нет, это выйдет — и работу убивать, и деньги попусту тратить,“ сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел, совершенно уничтоженный. А Петрович, по уходе его, долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. „Этаково-то дело этакое“, говорил он сам себе: „я, право, и не думал, чтобы оно вышло того...“ а потом, после некоторого молчания, прибавил: „так вот как! наконец, вот что вышло! А я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак“. За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: „Так этак-то! Вот какое уж, точно, никак неожиданное того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!“ Сказавши это, он, вместо того, чтобы итти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: „Чего лезешь в самое рыло? разве нет тебе трухтуара?“ Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидев в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. „Ну, нет“, сказал Акакий Акакиевич: „теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того в руку — он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того...“ Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался пер-

вого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он — прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его чорт толкнул. „Нельзя", сказал: „извольте заказать новую". Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. „Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье", сказал Петрович: „а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уже я вам сошью на славу, уж на этом постоим".

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: „Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике".

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге; словом, все деньги совершенно должны были разойтись, и если бы даже директор был так милостив, что, вместо сорока рублей наградных, определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг, чорт знает, какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: „Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит". Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако, все же, откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертой на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом, в продолжение не-

скольких лет, оказалось накопившейся суммы более, чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал-думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, итти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке: ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скороврeменно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад, — даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу,—и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом — все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть-было даже ни сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: „ух!“ и перекрестился. В продолжение каждого месяца он, хотя один раз, наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели: где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, — и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что, наконец, придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца неболь-

шого голоданья — и у Акакия Акакиевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцовитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вместо нее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке,—кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытисняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было итти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал не малое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес (платок был только-что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления). Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечи Акакию Акакиевичу, потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как-раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и при том давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево, а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей.

Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то-есть, прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель, и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: „Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер, и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня имянинник“. Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что, просто, стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся:

такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уже ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плечи шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, стало-быть, очень неблизко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но, по мере приближения к квартире чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены; пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые; на мужчинах попадались бобровые воротники; реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками; напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость: он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, или подумал, он, подобно многим другим чиновникам, следующее: „Ну, уж эти французы! Что и говорить! Уж ежели захотят что-нибудь того, так уж, точно, того!..“ А может быть, даже и этого не подумал: ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он ни думает. Наконец, достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сдела-

лись ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он, просто, не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец, подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, — тем более, что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить, в честь обновки, по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плечи и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты; другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять попрежнему очень тихо, по-

дивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь оне сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам — точное море вокруг него. „Нет, лучше и не глядеть“, — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят, почти перед носом, какие-то люди с усами, — какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. „А ведь шинель-то моя!“ сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать: „караул“, как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: „А вот только крикни!“ Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать; но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чорта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь, и все панталоны были в снегу.

Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и, с башмаком на одной только ноге, побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно итти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего итти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало-быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич, печальный, побрел в свою комнату, и как он провел там ночь — предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: „спит"; он пришел в одиннадцать часов — сказали: „да нет частного дома"; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось; так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот, как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался? да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме? так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели, или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, — несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, — однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был

приятелем сочинителю; итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что, хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*; что *значительное лицо*, спишась и снесясь, с кем следует, может заставить успешнее итти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился итти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным, в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием: всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее „комнатой присутствия“, и поставил у дверей каких-то капельдинеров, с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в „комнате присутствия“ насилу мог установиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. „Строгость, строгость и — строгость“, — говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил, хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе: завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял

почти из трех фраз: „Как вы смеете? знаете ли вы, с кем говорите? понимаете ли, кто стоит перед вами?“ Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек, как следует, — человек очень порядочный, во многих отношениях даже неглупый человек; но, как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был, просто, хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: „Кто такой?“ ему отвечали: „Какой-то чиновник“. — „А! может подождать, теперь не время“, сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время; они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: „так-то, Иван Абрамович!“ — „этак-то, Степан Варламович!“ но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку, давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку, в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: „Да ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти“. Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал:

„что вам угодно?“ голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил, с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц „того“, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер-полицеймейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным. „Что вы, милостивый государь“, продолжал он отрывисто: „не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...“

„Но, ваше превосходительство“, сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом: „я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...“

„Что, что, что?“ сказал значительное лицо: „откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!“ Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет, стало-быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то-есть, в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет. „Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? я вас спрашиваю“. Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже, с своей стороны, сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, — ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног: в жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата, болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут, после чего обратился к хозяйке и сказал: „А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог“. Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то, спрашивая, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: „Виноват, ваше превосходительство!“ то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство“. Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не

интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание естествонаблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп, — существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для котораго все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивается оно на главы сильных мира сего!.. Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше притти, и на запрос: „почему?“ выразился словами: „Да так: уж он умер; четвертого дня похоронили“. Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакие Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец, в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и, под видом стащенной шинели, сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, — словом, всякого рода меха́ и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, но даже и надворных советников, подвержены совершенной простуде, по причине частого сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно, будочник какого-то квартала, в Ки-

рюшкином переулке, схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приомороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: „Эй, ты, ступай своею дорогою!“ и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо*, которое, по настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то в роде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что, неделю спустя, он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он, и как, и нельзя ли, в самом деле, чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, — средство, как известно, не дурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему рас-

положение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, — даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: „К Каролине Ивановне!“ а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то-есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг, с неестественной силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом, поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: „А, так вот ты, наконец! Наконец я тебя, того, поймал за воротник! Твоей-то шинели мне и нужно! Не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!“ Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: „У, какой характер!“ но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: „Пошел во весь дух домой!“ Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был перед подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без ши-

нели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру, за чаем, дочь ему сказала прямо: „Ты сегодня совсем бледен, папа". Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: „как вы смеете? понимаете ли, кто перед вами?" если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели упокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен,— так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: „Тебе чего хочется?" и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: „Ничего", да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Н. В. Гоголь.

1842 г.

---

1. Опустив описания, характеристики и всякого рода отступления, изложите устно или письменно сюжет повести. Много ли займет места это изложение по сравнению со всем текстом повести? Чем распространена повесть?

2. Держась ближе к тексту повести, нарисуйте портрет Акакия Акакиевича: его наружность, обычное поведение — походку, манеру держать себя, одежду.

3. Нарисуйте также обстановку, в какой жил Акакий Акакиевич: дома, в департаменте.

4. Охарактеризуйте отношение к Акакию Акакиевичу окружающих его: начальства, чиновников, сослуживцев, сторожей и т. д.

5. Дайте общую характеристику Акакия Акакиевича: каково его социальное положение, его интересы, способности, его речь и т. д.

6. В какой связи с общей характеристикой героя стоит самое имя его и фамилия?

7. Как изменилось все поведение Акакия Акакиевича в связи с обозначившейся целью в его жизни? Дайте подробное описание изменившегося поведения героя, держась текста повести.

8. Представлял ли Акакий Акакиевич исключительное явление в своей среде?

9. Как сам Гоголь относится к герою? Чем насмешливый тон повести Гоголя отличается от насмешек над героем его сослуживцев? Ведет ли этот тон к насмешке читателя над героем повести? Какое же отношение к герою вызывает у читателя повесть?

10. Какую роль играет в судьбе Акакия Акакиевича „значительное лицо“?

11. Как дошел Акакий Акакиевич до того состояния, в каком он выступает в повести?

12. Почему Гоголь остановил свой выбор на таком „незаметном существе“, как Акакий Акакиевич? Найдите в повести места, объясняющие этот выбор.

Приемы творчества.

По словам современника Гоголя, П. В. Анненкова, „однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности в лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслью чудной повести его „Шинель“, и она заронилась в душу его в тот же самый вечер“.

---

1. Каким образом анекдот мог зародить у Гоголя мысль о „Шинели“? Почему Гоголь не мог смеяться при рассказе анекдота вместе с другими?

2. Как развернул Гоголь в своей повести подсказанный ему анекдотом остов сюжета?

3. Какие приемы он употребил для выполнения своего замысла дать фигуру „бедного чиновника“?

4. Соберите и отметьте все приемы автора, какими он вызывает у читателя повести впечатление о герое, как вечном титулярном советнике.

5. Какими приемами Гоголь изображает ограниченность кругозора и интересов у Акакия Акакиевича?

6. Зачем понадобилось Гоголю останавливаться на изображении Петровича и его жены? Какую роль играют в этом изображении детали (укажите их), какие рисует Гоголь?

7. Как дан образ „значительного лица": опишите его внешность, обстановку, в которой он принял Акакия Акакиевича, манеру речи.

8. Отыщите в повести места, вводящие читателя в мир внутренних переживаний действующих лиц (психологический анализ): Акакия Акакиевича, значительного лица.

Чем интересна психология бреда умирающего Акакия Акакиевича?

9. Какое значение имеет для общего настроения, вызываемого повестью, ее фантастико-анекдотический конец?

10. Отыщите черты бытового реализма, скрываемого за этой фантастической внешностью.

Язык повести.

1. Каков общий тон повести? Какими средствами языка он достигается?

2. Отметьте приемы игры слов и внешнего комизма в разных местах повести: в рассказе о рождении Акакия Акакиевича, о происхождении фамилии его, о Петровиче, его позе, манерах, о жене Петровича и ее кухне и в особенности в фантастическом конце повести.

3. Как характеризует Гоголь язык Акакия Акакиевича? Отыщите в повести все места, где даны образцы речи Акакия Акакиевича. Выпишите их.

4. Как говорит Петрович?

5. Как говорит „значительное лицо"? Одинаково ли он говорит со всеми?

6. Сравните по языку „Шинель" со „Станционным смотрителем" Пушкина: где преобладают короткие предложения, и где длинные, сложные построения предложений? Дайте примеры.

Темы.

1. Изложите историю с шинелью Акакия Акакиевича (повествование).
2. Акакий Акакиевич, как чиновник и как человек (характеристика).
3. Петрович (характеристика).
4. Акакий Акакиевич в новой шинели.
5. Детские годы Акакия Акакиевича.

---

1. Сравните повесть Гоголя с поэмой Пушкина („Медный Всадник") по теме, по выбору героев, по приемам их изображения.

2. Прочтите начало VII главы „Мертвых душ" (о двух писателях) и примените данную там характеристику к творчеству Пушкина и Гоголя, как авторов поэмы „Медный Всадник" и повести „Шинель".

3. Укажите драматические моменты в этих двух произведениях: внутренние (борьба за свои интересы, гибель героев—катастрофа) и внешние (диалог).

4. Почему же отмеченные произведения Пушкина и Гоголя не называются драматическими?

5. В чем отличие их от комедии Гоголя „Ревизор"?

6. Укажите отличия между эпическими и драматическими произведениями.

---

15. Из воспоминаний П. В. Анненкова.

Никогда, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала Гоголя постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Для Гоголя ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими.

П. В. Анненков.

---

16. * * *

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе впечатление какой-нибудь заметной особенности, — все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом известной архитектуры, с половиной фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков; круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью; рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользало от свежего, тонкого внимания, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящими с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет; глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного, бог знает, из какой губернии, на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, — и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились

сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей; и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечку в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь, с своею тогда — увы! — вовсе не пошлою наружностью, и по нем старался угадать: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшей сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Н. В. Гоголь.

В какую связь вы можете поставить приведенные строки из воспоминаний Анненкова и признаний самого Гоголя с приемами его творчества, обнаруженными в повести „Шинель“?

---

17. Задания: прочтите повесть А. С. Пушкина — „Станционный смотритель“.

(1830.)

1. Как шла жизнь Симеона Вырина до его „несчастия“ (семья, служба, материальное положение, обращение проезжих, горе и радости; внешняя обстановка)?

2. О какой жизни он мог мечтать для себя и для Дуни?

3. Каким был станционный смотритель до увоза Дуни и каков стал после?

4. Разберитесь в его переживаниях (мыслях, чувствах, желаниях) после увоза Дуни?

5. Как отнеслись Минский и Дуня к несчастному старику отцу?

6. Что свело Симеона Вырина в могилу?

7. Как понять заключительное слово повествователя, что он „не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, им истраченных“?

8. Сравните станционного смотрителя и Акакия Акакиевича. Что общего в их социальном положении и судьбе? Чья жизнь осмысленнее и человечнее?

9. Как объяснить следующее впечатление, полученное от чтения „Станционного смотрителя“ тоже бедным чиновником, Макаром Девушкиным (в „Бедных людях“ Достоевского):

...„Это читаешь, словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уже оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал — все подробно, вот как!.. Право, и я так же бы написал; отчего бы и не написать? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Симеон-то Вырин, бедняга. Да сколько между нами-то ходит Симеонов Выриных, таких же горемык сердечных!“...

10. Как Пушкин смог создать художественный образ такого широкого жизненного охвата (т и п)? Прочтите для этого еще раз и разберитесь в первой странице Пушкинской повести (до слов: „В 1816 году“...).

11. Не видали ли вы в кино „Коллежского регистратора“? В чем отличие от Пушкинской повести? Что прибавило кино к впечатлению от чтения: усилило его или ослабило? разъяснило или запутало? Где правдоподобнее?

12. Когда и как узнал повествователь о судьбе станционного смотрителя?

13. Расскажите „повесть“ станционного смотрителя так, как он сам рассказал ее автору. Отметьте в пересказе этой „повести“ автором его собственные слова, которые не могли быть сказаны станционным смотрителем.

14. Отметьте слова и обороты речи, явно устаревшие (архаизмы, славянизмы).

---

1. Сравните речь станционного смотрителя и Акакия Акакиевича. О чем говорит это различие? Как его объяснить?

2. Выделите отступления от повествования о событии у Пушкина и Гоголя. Их характер (особенность) у того и другого.

3. Кто из обоих художников более подробно изображает внутренний мир (психику) героев, кто — объективный (внешний) ход событий? Каких результатов достигает тот и другой прием?

4. Сопоставьте заключительный момент в повествовании о судьбе героев у Пушкина и Гоголя. Как эти „концы“ вяжутся с общим тоном и смыслом рассказа?

---

18. Проработка понятия о типе.

1. Как понять слова Гоголя: „Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым. И ловкий гвардейский офицер скажется иногда Хлестаковым, и государственный муж скажется Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, скажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни...“ Сравните впечатление, произведенное „Ревизором“ на современников: „Полученные в Москве экземпляры „Ревизора“ перечитаны, зачитаны, выучены, превратились в пословицы и пошли гулять по людям, обернулись эпиграммами и начали клеймить

тех, к кому придутся. Имена действующих лиц „Ревизора“ обратились на другой день в собственные названия: Хлестаковы, Анны Андреевны, Марьи Антоновны, городничие, Земляники, Тяпкины-Ляпкины пошли под руку с Фамусовым, Молчалиным, Чацким, Простаковыми. И все это так скоро, еще до представления [1] сделалось. Посмотрите: они, эти господа и госпожи, гуляют по Тверскому бульвару, в парке, по городу, и везде, везде, где есть десяток народу, между ними наверно один выходит из комедии Гоголя...“ („Молва“ 1836.)

2. Можно ли найти в жизни полное совпадение с художественным образом, напр., Хлестакова, Плюшкина, Акакия Акакиевича и др.?

3. Встречали ли вы в жизни и в литературе людей, п о д о б н ы х Хлестакову, Обломову, Акакию Акакиевичу?

4. Какое значение имеют для нас эти собирательные, обобщающие художественные образы (типы)?

5. Чем можно объяснить сходство характеров Евгения в „Медном Всаднике“, станционного смотрителя, Акакия Акакиевича, Александра Македонского (прочтите рассказ Сейфуллиной под тем же заглавием).

6. Рассмотрите на образах Акакия Акакиевича и Симеона Вырина, с одной стороны, и Александра Македонского, с другой, как изменившиеся социальные условия изменили жизненную судьбу этого типа.

7. Отыщите в повести „Шинель“ место, противоположное оценке рабочим Александра Македонского: „можно прямо сказать: себя окупил, не задарма на земле прошлепал!“

8. Какие еще знаете литературные типы? Сравните их по широте жизненного захвата (типического обобщения).

---

19. Размышления у парадного подъезда.

Вот парадный подъезд. По торжественным дням
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!

А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то-и-знай по утрам
Все курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает „трам-трам“,
А иные просители плачут.

---

[1] „Ревизор“ впервые был представлен в Московском Малом театра 25 мая 1836 года.

Раз я видел, сюда мужики
подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали
вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар.—„Допусти“,
говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы
на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых.
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних
губерний.)
Кто-то крикнул швейцару:
„Гони!
Наш не любит оборванной
черни!“
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы [1],
Но швейцар не пустил, скудной
лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще
наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...
Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах!

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро
бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со
славою
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской [2] идиллии [3]
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя,—
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны,—как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей
с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною
тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить
злобу—
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать
утешенье...

---

[1] Пилигрим — старинное название путешественника в дальние страны.
[2] Аркадия — в Греции — воспета древними поэтами, как страна счастливой мирной жизни.
[3] Идиллия — деревенская картина, рисующая сцены из жизни простых классов народа в привлекательном свете.

Не беда, что потерпит мужик:
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бичевой!..
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля! —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..

Н. А. Некрасов.

1858.

---

1. Дайте характеристику владельца „парадного подъезда“: его образа жизни, мировоззрения.
2. Какими приемами воспользовался поэт для обрисовки его?
3. Разбейте стихотворение на ряд отдельных сцен, вырисовывающих героя подъезда.
4. Как обрисованы мужики, подошедшие к подъезду?
5. Что привело их сюда и почему они названы „пилигримами“?
6. Как выражено отношение поэта к „мелким людям“?

---

1. Каков общий тон стихотворения? Какое чувство возбуждает оно по отношению к вельможе, с одной стороны, и к мужикам — с другой?
2. Какими выразительными средствами стиха поэт достигает этого?

Проанализируйте елова и выражения, обрисовывающие героя подъезда и лиц, его окружающих: отметьте, в чем выразительность их.

Рассмотрите слова и выражения, обрисовывающие мужичков-пилигримов: в чем их выразительность?

3. Какое место занимают в стихотворении восклицательные и вопросительные интонации? Какой тон придают эти интонации всему стихотворению?
4. Чем достигается сжатость и меткость языка стихотворения, рисующего наблюдения поэта над жизнью вельможи и бедного люда?
5. Выделите стихи, полные гнева (сарказма) в отношении к владельцу роскошных палат.
6. Выделите строфы, исполненные гражданской скорби поэта. Какое слово чаще всего повторяется в этих строфах и как оно характеризует отношение поэта к жизни и судьбе крепостного мужика?

7. Какой ответ хотел бы иметь поэт на вопрос заключительной строфы стихотворения?

Какой ответ вы можете дать теперь на этот же вопрос стихотворения?

Задания.

1. Выпишите наиболее выразительные эпитеты.
2. Нарисуйте картину обратного пути мужиков в свою деревню.

Темы.

1. Деревенские ходоки, собирающиеся в столицу.
2. Деревенские ходоки, вернувшиеся из столицы.

---

20. Бедность не порок.

Комедия в трех действиях.

Лица.

Гордей Карпыч Торцов, богатый купец.
Пелагея Егоровна, его жена.
Любовь Гордеевна, их дочь.
Любим Карпыч Торцов, его брат, промотавшийся.
Африкан Савич Коршунов, фабрикант.
Митя, приказчик Торцова.
Яша Гуслин, племянник Торцова.
Гриша Разлюляев, молодой купчик, сын богатого отца.
Анна Ивановна, молодая вдова.
Маша, Лиза } подруги Любови Гордеевны.
Егорушка, мальчик, дальний родственник Торцова.
Арина, нянька Любови Гордеевны.

Гости, гостьи, прислуга, ряженые и прочие. Действие происходит в уездном городе, в доме купца Торцова, во время святок.

Действие первое.

Небольшая приказчичья комната; на задней стене дверь, налево, в углу, кровать, направо шкаф; на левой стене окно, подле окна стол, у стола стул; подле правой стены конторка и деревянная табуретка; подле кровати гитара; на столе и конторке книги и бумаги.

Явление 1.

Митя *ходит взад и вперед по комнате;* Егорушка *сидит на табурете и читает „Бову королевича“.*

Егорушка *(читает).* „Государь мой батюшка, славный и храбрый король Кирибит Верзоулович, ныне итти за него смелости не имею, потому что, когда я была во младости, то король Гвидон за меня сватался“.

Митя. Что, Егорушка, наши дома?

Егорушка *(зажимает пальцем то место, где читает, чтоб не ошибиться).* Никого нет: кататься уехали. Один Гордей Карпыч дома. *(Читает.)* „На то сказал дщери своей Кирибит Верзоулович...“ *(Зажимает пальцем.)* Только такой сердитый, что беда! Я уж ушел,—все ругается. *(Читает.)* „Тогда прекрасная Милитриса Кирибитьевна, призвав к себе слугу Личарду...“

Митя. На кого же он сердит?

Егорушка *(опять зажимает).* На дяденьку, на Любима Карпыча. На второй-то праздник дяденька Любим Карпыч обедал у нас, за обедом-то захмелел да и начал разные колена выкидывать, да смешно таково. Я смешлив ведь больно, не вытерпел, так и покатился со смеху, а уж на меня глядя, и все. Дяденька Гордей-то Карпыч принял это себе за обиду да за невежество, осерчал на него да и прогнал. Дяденька-то Любим Карпыч взял да в отместку ему и созорничал: пошел да с нищими и стал у забора. Дяденька-то Гордей Карпыч говорит: осрамил, говорит, на весь город. Да теперь и сердится на всех без разбору, кто под руку подвернется. *(Читает.)* „С тем намерением, чтобы подступить под наш град“.

Митя *(взглянув в окно).* Кажется, наши приехали... Так и есть, Пелагея Егоровна, Любовь Гордеевна, да и гости с ними.

Егорушка *(прячет сказку в карман).* Побежать наверх. *(Уходит.)*

Явление II.

Митя *(один).* Эка, тоска, господи!.. На улице праздник, у всякого в доме праздник, а ты сиди в четырех стенах!.. Всем-то я чужой, ни родных, ни знакомых!.. А тут еще... Ах, да ну! сесть лучше за дело, авось тоска пройдет. *(Садится к конторке и задумывается, потом запевает:)*

Красоты ее не можно описать!..
Черны брови, с поволокою глаза...

Да, с поволокою. А как вчера в собольем салопе, покрывшись платочком! идет от обедни, так это... ах!.. Я так думаю, и не привидано такой красоты. *(Задумывается потом поет:)*

Уж и где ж эта родилась красота...

Как же, пойдет тут работа на ум! Все бы я думал об ней!.. Душу-то всю истерзал, тосковамши. Ах ты, горе-горевaньице!.. *(Закрывает лицо руками и сидит молча. Входит Пелагея Егоровна, одетая по-зимнему, и останавливается в дверях.)*

Явление Ш.

Митя и Пелагея Егоровна.

Пелагея Егоровна. Митя, Митенька!

Митя. Что вам угодно?

Пелагея Егоровна. Зайди ужо вечерком к нам, голубчик. Поиграете с девушками, песенок попоете.

Митя. Премного благодарен. Первым долгом сочту-с.

Пелагея Егоровна. Что тебе в конторе все сидеть одному! Не велико веселье! Зайдешь, что ли? Гордея-то Карпыча дома не будет.

Митя. Хорошо-с, зайду беспременно.

Пелагея Егоровна. Уедет ведь опять... Да, уедет туда, к этому, к своему-то... как его?..

Митя. К Африкану Савичу-с?

Пелагея Егоровна. Да, да! Вот навязался, прости господи!

Митя *(подавая стул)*. Присядьте.

Пелагея Егоровна. Ох, некогда. Ну, да уж присяду немножко. *(Садится.)* Так вот поди ж ты... этакая напасть! Право!.. Подружились ведь так, что на поди. Да! Вот какое дело! А зачем? К чему пристало? Скажи ты на милость! Человек-то он буйный да пьяный, Африкан-то Савич... да!

Митя. Может, дела какие есть у Гордея Карпыча с Африканом Савичем.

Пелагея Егоровна. Какие дела! Никаких делов нет. Ведь он-то, Африкан-то Савич, с агличином все пьют. Там у него агличин на фабрике делехтор — и пьют... да! А нашему-то не след с ними. Да разве с ним сговоришь! Гордость-то его одна чего стоит! Мне, говорит, здесь не с кем компанию водить, все, говорит, сволочь, все, видишь ты, мужики, и живут-то по-мужицки; а тот-то, видишь ты, московский, больше все в Москве... и богатый. И что это с ним сделалось? Да ведь вдруг, любезненький, вдруг! То все-таки рассудок имел. Ну, жили мы, конечно, не роскошно, а все-таки так, что дай бог всякому; а вот в прошлом году в отъезд ездил да перенял у кого-то. Перенял, перенял, уж мне сказывали... все эти штуки перенял. Теперь все ему наше русское не мило; ладит одно: хочу жить по-нынешнему, модами заниматься. Да, да!.. Надень, говорит, чепчик!.. Ведь что выдумает-то!.. Прельщать, что ли, мне кого на старости, говорю, разные прелести делать! Тьфу! Ну, вот поди ж ты с ним! Да! Не пил ведь прежде... право... никогда, а теперь с этим Африканом пьют! Спьяну-то, должно быть, у него *(показывая на голову)* и помутилось. *(Молчание.)* Уж я так думаю, что это враг его смущает.

Как-таки рассудку не иметь!.. Ну, еще кабы молоденький: молоденькому это и нарядиться, и все это лестно; а то ведь под шестьдесят! Миленький, под шестьдесят! Право! Модное-то ваше да нынешнее, я говорю ему, каждый день меняется, а русской-то наш обычай испокон веку живет! Старики-то не глупей нас были. Да разве с ним сговоришь, при его же, голубчик, крутом-то характере!

Митя. Что говорить! Строгий человек-с.

Пелагея Егоровна. Любочка теперь в настоящей поре, надобно ее пристроить, а он одно ладит: нет ей ровни... нет да нет!.. Ан вот есть!.. А у него все нет... А каково же это материнскому-то сердцу!

Митя. Может быть, Гордей Карпыч хотят в Москве выдать Любовь Гордеевну?

Пелагея Егоровна. Кто его знает, что у него на уме. Смотрит зверем, ни словечка не скажет, точно я и не мать... да, право... ничего я ему сказать не смею; разве с кем поговоришь с посторонним про свое горе, поплачешь, душу отведешь — только и всего. *(Встает.)* Заходи, Митенька.

Митя. Приду-с. *(Гуслин входит.)*

Явление IV.

Те же и Гуслин.

Пелагея Егоровна. Вот и еще молодец! Приходи. Яшенька, ужо к нам наверх с девушками песни попеть, ты ведь мастер, да гитару захвати.

Гуслин. Хорошо-с, это нам не в труд, а еще, можно сказать, в удовольствие-с.

Пелагея Егоровна. Ну, прощайте! Пойти соснуть полчасика.

Гуслин и Митя. Прощайте-с! *(Пелагея Егоровна уходит; Митя садится к столу пригорюнившись. Гуслин садится на кровать и берет гитару.)*

Явление V.

Митя и Яша Гуслин.

Гуслин. Что народу было на катанье!.. И ваши были. Что ж ты не был?

Митя. Да что, Яша, обуяла меня тоска-кручина.

Гуслин. Что за тоска? Об чем тебе тужить-то?

Митя. Как же не тужить-то? Вдруг в голову взойдут такие мысли: что я такое за человек на свете есть? Теперь родительница у меня в старости и бедности находится, ее должен содержать, а чем? Жалованье маленькое, от Гордея

Карпыча все обида да брань, да все бедностью попрекает, точно я виноват... а жалованья не прибавляет. Поискал бы другого места, да где его найдешь без знакомства-то. Да, признаться сказать, я к другому-то месту и не пойду.

Гуслин. Отчего же не пойдешь? Вот у Разлюляевых жить хорошо, — люди богатые и добрые.

Митя. Нет, Яша, не рука! Уж буду все терпеть от Гордея Карпыча, бедствовать буду, а не пойду. Такая моя планида!

Гуслин. Отчего же так?

Митя *(встает)*. Так, уж есть тому делу причина. Есть, Яша, у меня еще горе, да никто того горя не знает. Никому я про свое горе не сказывал.

Гуслин. Скажи мне.

Митя *(махнув рукою)*. Зачем!

Гуслин. Да скажи, что за важность!

Митя. Говори не говори, ведь не поможешь!

Гуслин. А почем знать!

Митя *(подходит к Гуслину)*. Никто мне не поможет. Пропала моя голова! Полюбилась мне больно Любовь Гордеевна.

Гуслин. Что ты, Митя! Да как же это?

Митя. Да вот как — никак, а уж сделалось.

Гуслин. Лучше, Митя, из головы выкинь. Этому делу никогда не бывать да и не раживаться.

Митя. Знамши я все это, не могу своего сердца сообразить. „Любить друга можно, нельзя — позабыть!..“ *(Говорит с сильными жестами.)* „Полюбил я красну девицу пуще роду, пуще племени... Злые люди не велят, велят бросить, перестать!“

Гуслин. Да и то надоть бросить. Вот Анна Ивановна мне и ровня: у ней пусто, у меня ничего, да и то дяденька не велит жениться. А тебе и думать нечего. А то заберешь в голову — потом еще тяжельше будет.

Митя *(декламирует)*.

Что на свете прежестоко?
Прежестока есть любовь!

(Ходит по комнате). Яша, читал ты Кольцова? *(Останавливается.)*

Гуслин. Читал, а что?

Митя. Как он описал все эти чувства!

Гуслин. В точности описывал.

Митя. Уж именно, что в точности. *(Ходит по комнате.)* Яша!

Гуслин. Что?

Митя. Я сам песню сочинил.

Гуслин. Ты?

Митя. Да.

Гуслин. Давай голос подберем, да и будем петь.

Митя. Хорошо. На вот. *(Отдает ему бумагу.)* А я попишу немного, — дело есть: неравно Гордей Карпыч спросит. *(Садится и пишет. Гуслин берет гитару и начинает подбирать голос; Разлюляев входит с гармоникой.)*

Явление VI.

Те же и Разлюляев.

Разлюляев. Здравствуйте, братцы! *(Наигрывает на гармонике и приплясывает.)*

Гуслин. Эко, дурак! На что это ты гармонию-то купил?

Разлюляев. Известно на что — играть. Вот так... *(Играет.)*

Гуслин. Ну, уж важная музыка... нечего сказать! Брось, говорят тебе!

Разлюляев. Что ж, не брошу разве!.. Коли захочу, так и брошу!.. Вот важность! Денег, что ли, у нас нет? *(Бьет себя по карману.)* Звенят! У нас гулять — так гулять! *(Бросает гармонику.)*

Одна гора высока,
А другая низка;
Одна мила далека,
А другая близка.

Митя! *(Ударяет Митю по плечу.)* А Митя! Что ты сидишь?

Митя. Дело есть. *(Продолжает заниматься.)*

Разлюляев. Митя! а Митя! а я гуляю, брат... право слово, гуляю. Ух, ходи! *(Поет: „Одна гора высока“ и проч.)* Митя! а Митя! весь праздник буду гулять, а там за дело... Право слово! Что ж, у нас денег, что ли, нет? Вот они!.. А я не пьян... Нет, так гуляю... весело...

Митя. Ну, гуляй на здоровье.

Разлюляев. А после праздника женюсь!.. Право слово, женюсь! Возьму богатую.

Гуслин. Ну, вот слушай-ка, так-то ладно ль будет?

Разлюляев. Спой-ка, спой, я послушаю.

Гуслин *(поет)*.

Нет-то злей, постылее
Злой сиротской доли,
Злее горя лютого,
Тяжелей неволи!
Всем на свете праздничек,
Тебе не веселье!..
Буйной ли головушке
Без вина похмелье!

Молодость не радует,
Красота не тешит;
Не зазноба-девушка —
Горе кудри чешет.

(Во все это время Разлюляев стоит, как вкопанный, и слушает; по окончании пения все молчат.)

Разлюляев. Хорошо, больно хорошо! Жалко таково... Так за сердце и хватает. *(Вздыхает.)* Эх, Яша! сыграй веселую, полно канитель-то эту тянуть, — нынче праздник. *(Поет.)*

Ух! Как гусара не любить!
Это не годится!

Подыгрывай, Яша. *(Гуслин подыгрывает.)*

Митя. Полно вам дурачиться-то. Давайте-ка лучше сядемте в кучку да полегоньку песенку споем.

Разлюляев. Ладно. *(Садятся.)*

Гуслин *(запевает; Митя и Разлюляев подтягивают).*

Размолодчики вы молоденькие,
Вы дружки мои...

(Входит Гордей Карпыч, все встают и перестают петь.)

Явление VII.

Те же и Гордей Карпыч.

Гордей Карпыч. Что распелись! Горланят, точно мужичье! *(Мите.)* И ты туда ж! Кажется, не в таком доме живешь, не у мужиков. Что за полпивная! Чтоб у меня этого не было вперед! *(Подходит к столу и рассматривает бумаги.)* Что бумаги-то разбросал!..

Митя. Это я счета проверял-с.

Гордей Карпыч *(берет книгу Кольцова и тетрадь со стихами).* А это еще что за глупости?

Митя. Это я от скуки, по праздникам-с, стихотворения господина Кольцова переписываю.

Гордей Карпыч. Какие нежности при нашей бедности!

Митя. Собственно для образования своего занимаюсь, чтоб иметь понятие.

Гордей Карпыч. Образование! Знаешь ли ты, что такое образование?.. А еще туда же разговаривает! Ты бы вот сертучишко новенький сшил! Ведь к нам наверх ходишь, гости бывают... срам! Куда деньги-то деваешь?

Митя. Маменьке посылаю, потому она в старости, ей негде взять.

Гордей Карпыч. Матери посылаешь! Ты себя-то бы образил прежде; матери-то не бог знает, что нужно, не в роскоши воспитана, чай, сама хлевы затворяла.

Митя. Уж пущай же лучше я буду терпеть, да маменька, по крайности, ни в чем не нуждается.

Гордей Карпыч. Да ведь безобразно! Уж коли не умеешь над собою приличия наблюдать, так и сиди в своей конуре; коли гол кругом, так нечего о себе мечтать! Стихи пишет, образовать себя хочет, а сам как фабричный ходит! Разве в этом образование-то состоит, что дурацкие песни петь? То-то глупо-то! *(Сквозь зубы и косясь на Митю.)* Дурак! *(Помолчав.)* Ты и не смей показываться в этом сертучишке наверх. Слышишь, я тебе говорю! *(К Разлюляеву.)* А ты тоже! Отец-то, чай, деньги лопатой загребает, а тебя в этаком зипунишке водит.

Разлюляев. Что ж такое! Он новый... сукно-то французское, из Москвы выписывали, по знакомству... двадцать рублев аршин. Что ж, нешто мне этакую штуку надеть, как у Франца Федорыча, у аптекаря... кургузую! так его вон и дразнят все: страм-пальто! Так что ж хорошего людей смешить!

Гордей Карпыч. Много ты знаешь! Да что, с тебя взыскать-то нечего! Сам-то ты глуп, да и отец-то твой не больно умен... целый век с засаленным брюхом ходит; дураками непросвещенными живете, дураками и умрете.

Разлюляев. Уж ладно.

Гордей Карпыч *(строго)*. Что?

Разлюляев. Ладно, мол.

Гордей Карпыч. Неуч, и сказать-то путно не умеешь! Говорить-то с вами — только слова тратить: все равно, что стене горох, так и вам, дуракам.

Явление VIII.

Те же без Торцова.

Разлюляев. Подико-сь, какой грозный! Ишь ты развоевался! Так вот тебя и испугались... Как же, держи карман-то!

Митя *(Гуслину)*. Вот она, жизнь-то моя какова! Вот каково мне сладко жить-то на свете!

Разлюляев. Да от этакого житья — запьешь, право, запьешь! А ты брось — не думай. *(Запевает.)*

Одна гора высока,
А другая низка;
Одна милка далека,
А другая близко.

(Входят: Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша и Лиза.)

Явление IX.

Те же, Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша и Лиза.

Анна Ивановна. Мир честной компании!

Разлюляев. Милости прошу к нашему шалашу.

Митя. Наше почтение-с! Милости просим! Какими судьбами?..

Анна Ивановна. А никакими, просто — взяли да и пришли. Гордей Карпыч уехал, а Пелагея Егоровна отдохнуть легла, так теперь наша воля... Гуляй — не хочу!

Митя. Просим покорно садиться. *(Садятся. Митя садится против Любови Гордеевны; Разлюляев ходит.)*

Анна Ивановна. Надоело молча-то сидеть, орехи щелкать; пойдемте, говорю, девушки, к парням, а девушкам и любо.

Любовь Гордеевна. Что ты выдумываешь-то? Мы не воображали сюда итти, это ты выдумала.

Анна Ивановна. Как же не так! Да ты первая... Известно дело, кому что нужно, тот об том и думает: парни об девках, а девки об парнях.

Разлюляев. Ха-ха-ха! Это вы, Анна Ивановна, в точности говорите.

Любовь Гордеевна. Вот уж никогда!

Маша *(Лизе)*. Ах, стыд какой!

Лиза. Это, Анна Ивановна, вы говорите совсем напротив.

Анна Ивановна. Ах, вы, скромность! Уж сказала бы словечко, да нехорошо при парнях-то... Сама была в девках, все знаю.

Любовь Гордеевна. Девушка девушке рознь.

Маша. Ах, стыд какой!

Лиза. Что вы говорите, это даже для нас оченно странно и, можно сказать, конфузно.

Разлюляев. Ха-ха ха!..

Анна Ивановна. А об чем сейчас наверху разговор был? Хотите, скажу!.. Ну, говорить, что ли? Что присмирели!

Разлюляев. Ха-ха-ха!..

Анна Ивановна. Ты что рот-то разинул! Не об тебе — небось!

Разлюляев. Хоша не обо мне, однако, может быть, есть, кто и об нас думает. Мы знаем, что знаем! *(Приплясывает.)*

Как гусара не любить,
Это не годится!

Анна Ивановна. *(Подходит к Гуслину.)* Что же ты, бандурист, когда на мне женишься?

Гуслин *(играя на гитаре)*. А вот когда от Гордея Карпыча разрешение выйдет. Куда нам торопиться-то, над нами не каплет. *(Кивает ей головой.)* Поди-ка сюда, Анна Ивановна, мне нужно сказать тебе одно дело. *(Она подходит к нему и садится подле него; он шепчет ей на ухо, показывая на Любовь Гордеевну и на Митю.)*

Анна Ивановна. Что ты говоришь!.. Неужто?

Гуслин. Уж это верно так.

Анна Ивановна. Ну, так хорошо, молчи! *(Говорит шопотом.)*

Любовь Гордеевна. Ты, Митя, придешь к нам ужо вечером?

Митя. Приду-с.

Разлюляев. И я приду. Я больно плясать горазд. *(Становится фертом.)* Девушки, полюбите меня кто-нибудь!

Маша. Как вам не стыдно! Что это вы такое говорите!

Разлюляев. Что ж такое за важность! Я говорю: полюбите меня... да... за мою простоту.

Лиза. Этого не говорят девушкам. А должны были сами дожидаться, чтобы вас полюбили.

Разлюляев. Да, дождешься от вас, как же! *(Пляшет.)*

Как гусара не любить!

Любовь Гордеевна *(взглянув на Митю)*. Может-быть, кто-нибудь и любит кого-нибудь, да не скажет: надобно самому догадаться.

Лиза. Какая же девушка в мире может сказать это!

Маша. Конечно.

Анна Ивановна *(подходит к ним и поглядывает то на Любовь Гордеевну, то на Митю и запевает)*.

Уж и как это видно,
Коли кто кого любит —
Против милого садится,
Тяжеленько вздыхает.

Митя. На чей счет это принимать нужно?

Анна Ивановна. Уж мы знаем, на чей.

Разлюляев. Стойте, девушки, я вам песню спою.

Анна Ивановна. Спой, спой!

Разлюляев *(поет протяжно)*.

Летал медведь по поднебесью.

Анна Ивановна. А ты хуже этой-то не знаешь?

Лиза. Даже можно принять это в насмешку.

Разлюляев. А коли эта не хороша, я вам другую спою; я ведь веселый. *(Поет.)*

Ах, бей в доску,
Поминай Москву!
Москве хочется жениться —

Коломну взять,
А Тула-то хохочет,
Да в приданое не хочет!
А гречиха по четыре,
Крупа по сороку,
Вот просо у нас гривна,
А ячмень три алтына.

(Обращаясь к девушкам.)

Вздешевел бы и овес —
Больно дорого провоз.

Видите, погода какова!

Маша. Это к нам не относится.

Лиза. Мы мукой не торгуем.

Анна Ивановна. Да ты что пристал! Ты вот отгадай загадку. Что такое: кругла — да не девка, с хвостом — да не мышь?

Разлюляев. Это штука мудреная!..

Анна Ивановна. То-то мудреная!.. Вот ты и думай! Ну, девушки, пойдемте. *(Девушки встают и собираются итти.)* Парни, пойдемте! *(Гуслин и Разлюляев собираются.)*

Митя. А я после обеда приду. Я тут уберу кой-что.

Анна Ивановна *(пока собираются).*

Вечор девки,
Вечор красны,
Вечор девки пиво варивали.
Зашел к девкам,
Зашел к красным,
Зашел к девкам да незванный гость.

(Анна Ивановна за дверью пропускает всех, исключив Любови Гордеевны, затворяет и не пускает ее.)

Явление X.

Митя и Любовь Гордеевна.

Любовь Гордеевна *(у двери).* Перестаньте, не дурачьтесь! *(За дверью девичий смех.)* Не пускают!.. Ах, какие! *(Отходит от двери.)* Баловницы, право!..

Митя *(подавая стул).* Присядьте, Любовь Гордеевна, побеседуйте минуточку. Я очень рад, видемши вас у себя.

Любовь Гордеевна. Чему тут радоваться, я не понимаю.

Митя. Да как же-с!.. Мне очень приятно видеть с вашей стороны такое внимание, сверх моих для вас заслуг. Вот уж другой раз я имею счастье-с...

Любовь Гордеевна. Ну, что ж! Пришла, посидела и ушла, в этом важности не состоит. Я, пожалуй, и сейчас уйду.

Митя. Ах, нет, не уходите-с!.. Для чего же-с *(вынимает из кармана бумагу)*. Позвольте мне презентовать мой труд... как умею, от души.

Любовь Гордеевна. Это что такое?

Митя. Собственно для вас сочинил стихи.

Любовь Гордеевна *(стараясь скрыть радость)*. Еще, может быть, глупость какая-нибудь... не стоит читать.

Митя. Этого я не могу судить, потому как сам я это писал и при том не учимшись.

Любовь Гордеевна. Прочитай.

Митя. Сейчас. *(Садится подле стола и берет бумагу. Любовь Гордеевна подвигается к нему очень близко.)*

Не цветочек в поле вянет, не былинка —
Вянет, сохнет добрый молодец, детинка.
Полюбил он красну девицу на горе,
На несчастьице себе да на большое.
Понапрасну свое сердце парень губит,
Что неровнюшку девицу парень любит.
Во темну ночь красну солнцу не всходити,
Что за парнем красной девице не быти.

Любовь Гордеевна *(сидит некоторое время задумавшись)*. Дай сюда. *(Берет бумагу и прячет, потом встает.)* Я тебе сама напишу.

Митя. Вы-с?

Любовь Гордеевна. Только стихами я не умею, а так, просто.

Митя. За великое счастье почту для себя ваше такое одолжение-с. *(Дает бумагу и перо.)* Извольте-с.

Любовь Гордеевна. Жаль только, что скверно пишу-то. *(Пишет; Митя хочет заглянуть.)* Только ты не смотри, а то я брошу писать и изорву.

Митя. Я не буду смотреть-с. Но вы позвольте мне на ваше снисхождение соответствовать тем же, сколь могу, и написать для вас стихи вторично-с.

Любовь Гордеевна *(положив перо)*. Пиши, пожалуй... Только пальцы все выпачкала; кабы знала, лучше бы не писала.

Митя. Пожалуйте-с.

Любовь Гордеевна. На, возьми. Только ты не смей читать при мне, а прочти после, когда я уйду. *(Складывает бумажку и отдает ему; он прячет в карман.)*

Митя. Будет по вашему желанию-с.

Любовь Гордеевна *(встает)*. Придешь к нам наверх?

Митя. Приду-с... сию минуту-с.

Любовь Гордеевна. Прощай.

Митя. До приятного свидания-с.

(Любовь Гордеевна идет к дверям; из дверей выходит Любим Карпыч).

Явление XI.

Те же и Любим Карпыч.

Любовь Гордеевна. Ах!

Любим Карпыч *(указывая на Любовь Гордеевну)*. Стой! Что за человек? По какому виду? За каким делом? Взять ее под сумнение!

Любовь Гордеевна. Это вы, дяденька!

Любим Карпыч. Я, племянница! Что, испугалась? Ступай, не бось! Я не доказчик, кладу все в ящик, разберу после, на досуге.

Любовь Гордеевна. Прощайте. *(Уходит.)*

Явление XII.

Митя и Любим Карпыч.

Любим Карпыч. Митя, прими к себе купеческого брата Любима Карпова, сына Торцова.

Митя. Милости просим.

Любим Карпыч *(садится)*. Брат выгнал! А на улице, в этом бурнусе, немного натанцуешь! Морозы... время крещенское, — бррр!.. И руки-то озябли, и ноги-тоознобил... бррр!..

Митя. Погрейтесь, Любим Карпыч.

Любим Карпыч. Ты меня не прогонишь, Митя? А то ведь замерзну на дворе-то... как собака замерзну.

Митя. Как можно, что вы говорите!..

Любим Карпыч. Ведь вот брат выгнал же. Ну, пока деньжонки были, шлялся кое-где по теплым местам; а денег нет — нигде не пускают. А и денег-то было два франка да несколько сантимов! Не велик капитал! Каменный дом не выстроишь!.. Деревни не купишь!.. Как же надо поступить с этим капиталом? Куда его деть? Не в ломбард его несть! Вот я этот капитал взял да пропил, промотал. Туда ему и дорога.

Митя. Зачем же вы пьете, Любим Карпыч? Через это вы сами себе враг.

Любим Карпыч. Зачем я пью?.. От глупости! Да, от своей глупости. А ты думал, от чего?

Митя. Так вы лучше перестаньте.

Любим Карпыч. Нельзя перестать; на такую линию попал.

Митя. Какая же это линия?

Любим Карпыч. А вот, слушай ты, живая душа, какая это линия. Только ты слушай да на ус мотай. Остался я после отца, видишь ты, мал-малехонек, с коломенскую

версту, лет двадцати несмышленочек. В голове-то, как в пустом чердаке, ветер так и ходит! Разделились мы с братом: себе он взял заведение, а мне дал деньгами, да билетами, да векселями. Ну, уж как он там разделил — не наше дело, бог ему судья! Вот я и поехал в Москву по билетам деньги получать. Нельзя не ехать! Надо людей посмотреть, себя показать, высокого тону набраться. Опять же я такой прекрасный молодой человек, а еще свету не видывал, в частном доме не ночевывал. Надобно до всего дойти! Первое дело, оделся франтом, знай, дескать, наших! То-есть такого-то дурака разыгрываю, что на редкость! Сейчас, разумеется, по трактирам... Шпилен зи полька, дайте еще бутылочку похолоднее. Приятелей, друзей завелось, — хоть пруд пруди! По театрам ездил...

Митя. А ведь это, должно быть, Любим Карпыч, очень хорошо в театре представляют?

Любим Карпыч. Я все трагедию ходил смотреть: очень любил, только не видал ничего путем и не помню ничего, потому что больше все пьяный. *(Встает.)* „Пей под ножом Прокопа Ляпунова!“ *(Садится.)* Таким-то побытом деньжонки все я ухнул; что осталось, поверил приятелю Африкану Коршунову на божбу да на честное слово; с ним же я пил да гулял, он же всему беспутству заводчик, главный заторщик из бражного, он же меня и надул, вывел на свежую воду. И сел я, как рак на мели: выпить не на что, а выпить-то хочется. Как тут быть? Куда бежать, тоску девать? Продал платье, все свои модные штуки, взял бумажками, разменял на серебро, серебро — на медные, а там только пшик — да и все тут!

Митя. Как же вы жили, Любим Карпыч?

Любим Карпыч. Как жил? Не дай бог лихому татарину. Жил в просторной квартире, между небом и землей, ни с боков, ни с верху нет ничего. Людей стыдно, от свету хоронишься, а выйти на божий свет надобно: есть нечего. Идешь по улице, все на тебя смотрят... Все видели, какие я штуки выделывал, на лихаче с градом закатывал, а теперь иду оборванный да обдерганный, небритый... Покачают головами да и прочь пойдут. Страмота, страмота, страмота! *(Сидит повеся голову.)* Есть ремесло хорошее, коммерция выгодная — воровать. Да не гожусь я на это дело — совесть есть, опять же и страшно: никто этой промышленности не одобряет.

Митя. Последнее дело!

Любим Карпыч. Говорят, в других землях за это по талеру платят, а у нас добрые люди по шеям колотят. Нет, брат, воровать скверно! Это шутка стара, ее бросить пора... Да ведь голод-то не тетка, что-нибудь надобно делать! Стал по городу скоморохом ходить, по копеечке со-

бирать, шута из себя разыгрывать, прибаутки рассказывать, артикулы разные выкидывать. Бывало, дрожишь с утра раннего в городе, где-нибудь за углом от людей хоронишься да дожидаешься купцов. Как приедет, особенно кто побогаче, выскочишь, сделаешь колено, ну и даст, кто пятачок, кто гривну. Что наберешь, тем и дышишь день-то, тем и существуешь.

Митя. Вы бы лучше, Любим Карпыч, к брату ехали, чем так жить-то.

Любим Карпыч. Нельзя, втянулся. Эх, Митя, попадешь на эту зарубку — не скоро соскочишь. Да ты не перебивай, твоя речь впереди. Ну, вот слушай! Простудился я в городе — зима-то стояла холодная, а я вот в этом пальтишке щеголял, в кулаки подувал, с ноги на ногу перепрыгивал. Свезли меня добрые люди в больницу. Как стал я выздоравливать да в рассудок приходить, хмелю-то нет в голове, — страх на меня напал, ужасть на меня нашла!.. Как я жил? Что я за дела делал? Стал я тосковать, да так тосковать, что, кажется, умереть лучше. Так уж решился, как совсем выздоровею, так сходить богу помолиться да итти к брату, пусть возьмет хоть в дворники. Так и сделал. Бух ему в ноги!.. Будь, говорю, вместо отца! Жил так и так, теперь хочу за ум взяться. А ты знаешь, как брат меня принял? Ему, видишь, стыдно, что у него брат такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человек буду. Так нет, говорит, куда я тебя дену! Ко мне гости хорошие ездят, купцы богатые, дворяне; ты, говорит, с меня голову снимешь. По моим чувствам и понятиям мне бы совсем, говорит, не в этом роду родиться. Я, видишь, говорит, как живу: кто может заметить, что у нас тятенька мужик был? С меня, говорит, и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать! Сразил он меня, как громом! С этих-то слов я опять стал зашибаться немного. Ну да, я думаю, бог с ним, у него вот эта кость очень толста. *(Показывает на лоб.)* Ему, дураку, наука нужна. Нам, дуракам, не впрок богатство, оно нас портит. С деньгами нужно обращаться умеючи... *(Дремлет.)* Митя, я полежу у тебя, мне соснуть хочется.

Митя. Прилягте, Любим Карпыч.

Любим Карпыч *(встает)*. Митя, ты мне денег не давай... то-есть много не давай, а немножко дай. Я вот сосну, да схожу погреться немного, понимаешь!.. Только я немного... ни-ни!.. Будет дурачиться.

Митя *(вынимает деньги)*. Вот извольте, сколько вам нужно.

Любим Карпыч *(берет)*. Гривенник надо. Тут все серебро, мне серебра не надо. Ты дай мне еще семитку, вот и будет в настоящий такт. *(Митя дает.)* Вот и до-

вольно. Добрая ты душа, Митя! *(Ложится.)* Брат не умеет ценить тебя. Ну, да я с ним штуку сделаю. Дуракам богатство — зло! Дай умному человеку деньги, он дело сделает. Я походил по Москве-то, я все видел, все... Большую науку произошел! А дураку лучше денег не давай, а то он заломается... фу, фу, фу, трр!.. вот как брат, да как я, скотина... *(Полусонным голосом.)* Митя, я ночевать к тебе приду.

Митя. Приходите. Теперь контора пустая... праздники...

Любим Карпыч *(засыпая)*. А я с братом смешную штуку сделаю. *(Засыпает.)*

Митя *(подойдя к двери, вынимает письмо из кармана)*. Что-то тут? Боюсь!.. Руки дрожат!.. Ну, уж что будет, то будет, — прочитаю. *(Читает.)* „И я тебя люблю. Любовь Торцова“. *(Схватывает себя за голову и убегает.)*

Действие второе.

Гостиная в доме Торцова. У задней стены диван, перед диваном круглый стол и шесть кресел, по три на стороне; в левом углу дверь; на стенах по зеркалу и под ними маленькие столики; в боковых стенах по двери и дверь на задней, в углу. На сцене темно; из левой двери свет.

Явление I.

Любовь Гордеевна и **Анна Ивановна** *входят из двери освещенной.*

Анна Ивановна. Что же это они не идут, соколы-то наши?.. Не сходить ли за ними?

Любовь Гордеевна. Нет, не надо. А то, пожалуй, сходи. *(Обнимает ее.)* Сходи-ка, Аннушка.

Анна Ивановна. Что, видно, защемило сердечко-то?

Любовь Гордеевна. Ах, Аннушка, как я его люблю-то, кабы ты знала!..

Анна Ивановна. А ты, девка, люби, да ума не теряй. Не давай повадки, чтоб не было оглядки. Посмотри прежде хорошенько, каков парень-то.

Любовь Гордеевна. Парень-то хороший... Больно уж он мне по сердцу: такой тихий да сиротливый.

Анна Ивановна. Ну, а коли хорош, так люби, тебе ближе знать. Я ведь так говорю, к примеру. Мало ли нашей сестры от них плачутся. Долго ль до греха, не спросившись-то ума-разума.

Любовь Гордеевна. Что наша любовь? Как былинка в поле: не расцветет путем — да и поблекнет.

Анна Ивановна. Постой-ка, девушка, никак кто-то идет. Не он ли? Я пойду, а ты подожди, может, это и он... Потолкуете по душе. *(Уходит. Входит Митя.)*

Явление II.

Любовь Гордеевна и Митя.

Любовь Гордеевна. Кто там?

Митя. Я-с, Митя.

Любовь Гордеевна. Что ж ты так долго не шел?

Митя. Меня задержали-с. *(Подходит.)* Любовь Гордеевна, вы одне-с?

Любовь Гордеевна. Одна. А что?

Митя. Любовь Гордеевна, как прикажете понимать вашу записку: в правду или в шутку-с? *(Любовь Гордеевна молчит.)* Скажите, Любовь Гордеевна! Я теперича нахожусь в таком сумнении, что не могу вам этого выразить. Положение мое в вашем доме вам известно-с: от всякого зависим, от Гордея Карпыча я, можно сказать, пренебрежен совсем; у меня только и было одно чувство, что к вам-с; если же от вас я буду принят в насмешку, значит, лучше мне не жить на свете-с. Это вы поверьте душе моей. Я вам истину говорю-с.

Любовь Гордеевна. Нет, Митенька, я тебе вправду написала, а не в шутку. А ты меня любишь?

Митя. Конечно, Любовь Гордеевна, я не умею вам всего выразить, что чувствую; но хоша позвольте тем заверить, что я имею у себя сердце, а не камень. Вы можете мою любовь видеть из всего-с.

Любовь Гордеевна. А я думала, что ты любишь Анну Ивановну.

Митя. Это неправда-с.

Любовь Гордеевна. Право, мне так сказывали.

Митя. Если б это была правда, значит, что же я за человек после этого! Могу ли я выразить словами то, чего сердце не чувствует! А я считаю так, что это бесчестно. Я и того, может быть, не стою, что вы ко мне внимание имеете, а не то, что вас обмануть.

Любовь Гордеевна. Вам нельзя верить: все мужчины на свете обманщики.

Митя. Пущай же их обманщики, но только не я.

Любовь Гордеевна. Почем знать! Может быть, и ты обманываешь, хочешь насмешку надо мной сделать.

Митя. Легче бы мне, кажется, умереть не этом месте, чем слышать от вас такие слова! *(Отворачивается.)*

Любовь Гордеевна. Нет, Митя, я нарочно. Я знаю, что ты меня любишь; мне только так хотелось пошутить с тобой. *(Митя молчит.)* Митенька, Митя... Что ж ты молчишь? Ты рассердился на меня? Я ведь говорю тебе, что шучу. Митя! Да ну же, скажи что-нибудь. *(Берет его за руку.)*

Митя. Эх, Любовь Гордеевна, не шутки у меня на уме! Не такой я человек.

Любовь Гордеевна. Да не сердись!

Митя. Ты, коли любишь, эти шутки брось! Не к месту они. Эх, пропадай моя голова! *(Обнимает ее.)* Разве силой возьмут — волей не отдам. Я за тебя, Люба, душу положу!

Любовь Гордеевна *(прижимаясь к нему)*. Митенька, как же нам быть-то теперь?

Митя. Как быть? Не на то уж мы слюбились, чтоб расставаться.

Любовь Гордеевна. А ну, как да меня сговорят за кого-нибудь?

Митя. А вот что, Люба, одно слово — надоть итти завтра к Гордею Карпычу нам вместе, да в ноги ему. Так и так, мол, на все ваша воля, а нам друг без друга не жить. Да уж коль любишь друга, так забудь гордость!

Любовь Гордеевна. Какая гордость, Митенька! До гордости ли теперь! Ты, Митенька, не сердись на меня, не помни моих прежних слов: это только девичья глупость была одна, я винюсь перед тобой! Не шутки с тобой шутить, а приласкать бы мне тебя, бедного, надо было. *(Прилегает к нему на грудь.)* А ну, как тятенька да не захочет нашего счастья, что тогда?

Митя. Что загадывать вперед? Там как бог даст. Не знаю, как тебе, а мне без тебя жизнь не в жизнь! *(Молчание.)*

Любовь Гордеевна. Идет кто-то!.. Ступай, голубчик, потихоньку, а я после приду. *(Митя тихо уходит; Арина входит со свечой; Любовь Гордеевна идет к ней навстречу.)*

Явление III.

Арина, Любовь Гордеевна и потом Егорушка.

Арина. Ну тебя! Перепугала совсем. Что ты тут делаешь? Маменька там ищет тебя, а ты вот где. Чтой-то в потемках-то бродишь? Ишь ты, скромница, несмеяна-царевна. *(Любовь Гордеевна уходит.)* Уж и в самом деле не было ль тут кого с ней? *(Смотрит по углам.)* И я то, дура, на кого подумала! *(Зажигает свечи.)* Ведь, ишь ты, грех-то какой придет на старости лет. *(Егорушка входит.)* Поди, Егорушка, позови соседних девушек. Скажи, мол, Пелагея Егоровна приказала звать песни петь.

Егорушка. Ой! что ты, Аринушка, матушка! *(Пляшет.)*

Арина. Чему ж ты рад-то, глупый!

Егорушка. Еще бы не радоваться, этакое веселье! Ай-ай-ай!.. *(Прыгает.)*

Арина. Еще, может, ряженые будут; молодцы нарядиться хотели.

Егорушка. Ай, умру! Батюшки, умру!

Арина. Да что ты, пострелёнок?

Егорушка. Да со смеху умру; смешлив я больно, бабушка!

Арина. А ты сам нарядись.

Егорушка. Наряжусь, наряжусь! Ай, батюшки, ай-ай-ай!

Арина. Да ты беги поскорей за девками-то.

Егорушка. В секунд! *(Уходит. Приходит Пелагея Егоровна.)*

Явление IV.

Арина и Пелагея Егоровна.

Пелагея Егоровна. Аринушка, послала ты за девушками-то?

Арина. Послала, матушка.

Пелагея Егоровна. То-то... Пусть попоют с нашими-то, Любушку с гостями потешат. По тех пор и веселиться-то, пока молоды... да; известно, дело девичье, взаперти да взаперти, свету не видят... Ну, а теперь их праздник... да, уж пусть их, пусть их!

Арина. Что ж, матушка, что ж! Пускай их, что ж!

Пелагея Егоровна. Да мадерки, Аринушка, мадерки-то... постарше которым; ну, а молодым пряничков, конфеток, там что знаешь... да! Сама уж, сама уж догадайся. Да мадерки-то, Аринушка, не забудь.

Арина. Знаю, матушка, знаю! Уж всего будет довольно. Сейчас, матушка, сейчас!

Пелагея Егоровна. Да молодцам-то закусочки...

Арина. Все, все, матушка, будет. Уж ты не беспокойся; ты поди к гостям-то, а я уж все с удовольствием сделаю. *(Уходит).*

Пелагея Егоровна *(подойдя к двери).* Девушки, молодцы, подите сюда, тут попросторней да посветлее. *(Входят: Любовь Гордеевна, Маша, Лиза, Анна Ивановна, Разлюляев, Митя, Гуслин и две гостьи, 1-я и 2-я.)*

Явление V.

Пелагея Егоровна, Любовь Гордеевна, Маша, Лиза, Анна Ивановна, Разлюляев, Митя, Гуслин и две гостьи-старухи, 1-я и 2-я.

Пелагея Егоровна *(старухам).* А мы вот здесь усядемся. *(Садится на диван, старухи подле нее; Анна Ивановна и Гуслин садятся на стулья и говорят тихо;*

Митя стоит подле них; Маша, Любовь Гордеевна и Лиза ходят по залу, обнявшись; Разлюляев ходит за ними.)
Поглядим на них, пусть их играют.

Лиза. Я говорю: представьте, маменька, он не имеет никакой политики в разговоре и даже такие слова говорит, что совсем неучтиво.

Разлюляев. Это не в наш ли огород?

Лиза. Не о вас речь; ваше дело — сторона. *(Продолжает.)* Но за что же, маменька, я должна его любить... *(Говорит шопотом.)*

Пелагея Егоровна. Я, матушка, люблю по-старому, по-старому... да, по-нашему, по-русскому. Вот муж у меня не любит; что делать, характером такой вышел. А я люблю, я веселая... да... чтоб попотчевать, да чтоб мне песни пели... да, в родню в свою: у нас весь род веселый... песельники.

1-я гостья. Как я посмотрю, матушка Пелагея Егоровна, нет того веселья, как прежде, как мы-то были молоды.

2-я гостья. Нету, нету.

Пелагея Егоровна. Я молодая-то была первая затейница: и попеть, и поплясать — уж меня взять... да... что песен знала! Уж теперь таких и не поют.

1-я гостья. Нет, не поют, все новые пошли.

2-я гостья. Да, да, вспомянешь старину-то.

Пелагея Егоровна. Яшенька, спой-ка какую-нибудь песенку старенькую. *(Гуслин берет гитару.)*

Разлюляев *(девушкам)*. Стало быть, уж мне и не дожидаться; видно, от вас никакого толку не будет.

Лиза. Какого вам толку, я не понимаю.

Маша. Даже смешно слышать.

Разлюляев. Да, вам смешно, а мне-то каково? За что в самом деле не любите?

Любовь Гордеевна. Сядемте. *(Садится.)*

Гуслин *(поет)*.

За реченькой, за быстрою
Четыре двора;
В этих ли во двориках
Четыре кумы.
Вы, кумушки, голубушки,
Подружки мои,
Кумитеся, любитеся,
Любите меня.
Пойдете вы в зеленый сад —
Возьмите меня;
Вы станете цветочки рвать —
Сорвите и мне;
Вы станете веночки плесть —
Сплетите и мне;
Пойдете на реченьку —
Возьмите меня;

Вы станете венки бросать —
Вы бросьте и мой.
Как все венки поверх воды,
А мой потонул;
Как все дружки домой пришли,
А мой не пришел.

Арина *(входит с бутылками, стаканами и девушка с закусками).* Вот, матушка, я принесла.

Пелагея Егоровна *(девушке).* Попотчуй барышень-то. *(Девушка обносит девиц, ставит поднос на стол и уходит.)* Арина, а вино-то ты дай сюда. Да налей мадеры-то... Повеселей будет. Что ж, ничего, выпьем. Нас не осудят — мы старухи, да... *(Пьют.)* Аннушка, поди, выпей винца. Выпьешь, что ли?

Анна Ивановна. Вот, что ж не выпить! Говорят, без людей не пей, а при людях нужды нет. *(Подходит к Пелагее Егоровне, пьет и разговаривает потихоньку.)*

Арина. Молодцы, что ж вы осовели?

Митя. Я не пью-с.

Разлюляев. Можно! *(Подходит с Гуслиным и пьет, потом, ухватив Арину.)* Ну-ка, тряхнем стариной! *(Поет.)*

Эх, тряхону ль я старину
Про Ерему, про Фому...

Арина. Отстань, озорник, изломал всю!

Разлюляев *(поет.)*

Ах, вожжи во Калуге,
Хомут во Тарусе,
Сани с подрезами,
Едут они сами.

(Девушки смеются.)

Арина. Отвяжись, говорят! Ну-те совсем! *(Уходит.)*

Анна Ивановна. Да ты что старуху-то теребишь, давай со мной.

Разлюляев. Ну, давай! Играй, Яша! *(Яша играет, они пляшут.)*

1-я гостья. Веселая бабочка-то!

Пелагея Егоровна. Веселая, веселая.

Разлюляев *(топнув ногой).* У нас вот как! *(Перестает плясать.)*

Егорушка *(входит).* Девушки пришли.

Пелагея Егоровна. Ну, зови их. *(Егорушка уходит; девушки входят; Арина приносит блюдо и покрывает).* Садитесь-ка да запойте подблюдные, я их очень люблю. *(Любовь Гордеевна, Маша, Лиза и Анна Ивановна снимают кольца и кладут на блюдо; девушки запевают.)*

Сей, мати, мучицу,
Пеки пироги.
Слава!

К тебе будут гости,
Ко мне женихи.
Слава!
К тебе будут в лаптях,
Ко мне в сапогах.
Слава!
Кому спели —
Тому добро.
Слава!
Кому вынется —
Тому сбудется.
Слава!

(Разлюляев засучивает рукава, вынимает кольцо, отдает Любови Гордеевне.)

Пелагея Егоровна. Пора уж, пора.

Девушки *(запевают)*.

Сидит воробей
На Беле-городе.
Слава!
На Беле-городе,
На высокой стене.
Слава!
Глядит воробей
На чужу сторону.
Слава!
Кому вынется —
Тому сбудется.
Слава!

Арина *(входит)*. Ряженые пришли; прикажете пустить?

Пелагея Егоровна. Что ж, пусти, пусть попляшут. А вы, девушки, после попоете.

Явление VI.

Те же и ряженые: старик с балалайкой или гитарой, вожак с медведем и козой, Егорушка с патокой.

Старик *(кланяется)*. Всей честной беседе поклон.

Вожак. Кланяйся, Мишка. *(Медведь кланяется.)*

Старик. Прикажите попеть, поплясать, позабавить, свои косточки поправить.

Пелагея Егоровна. Что ж, ничего, попляшите. Попотчуй их, Аринушка, винцом. *(Арина подносит вино, некоторые пьют.)*

Старик. Благодарим покорно на ласковом слове да на потчеванье. *(Запевают.)*

Как уж наши молодцы
Хоть голы, да удалы!
Они сукна ткут
Во двенадцать рук.
Они сукна переткали —
Всем кафтаны першивали.

Нам не дороги кафтаны,
Были б денежки в кармане.
Целковые по мошнам
Не дают спать по ночам;
Медны денежки гремят —
Во кабак итти велят.
Целовальничек Андрей,
Отпирай кабак скорей:
У нас новый кафтан есть,
Мы заложим его здесь,
Не домой же его несть.

(Отходит в сторону.)

Егорушка *(пляшет с патокой).*

Ах, патока, патка,
Вареная, сладка!
Зима, зимушка, зима
Студена больно была,
Больно вьюжливая
И метельливая, —
Все дорожки замети,
Нельзя к миленькой пройти.
Ах, патока, патка,
Вареная, сладка!
Сидит моя женка,
Ровно перепелка!
Я за то ее люблю,
За то почитаю,
Что чопорно ходит,
Хорошо гуляет.

(Кланяется.)

1-я гостья. Ишь ты, какой молодец!.. а!

Пелагея Егоровна. Что ж, матушка, по детству, как умеет. Ведь ребенок еще. Поди сюда, Егорушка. *(Егорушка подходит.)* На тебе пряничка... *(Дает; Егорушка кланяется и уходит.)* Да, ребенок еще, что с него взять-то! *(Вожак водит медведя; коза пляшет.)*

Старик *(поет).*

Как у нас-то козел
Что за умный был:
Сам и по воду ходил,
Сам и кашу варил, —
Деда с бабкой кормил.
Как пошел наш козел,
Он во темный лес,
Как навстречу козлу
Да семь волков.
Как один-то волк,
Он голодный был,
Он три года ходил,
Все козлятинки просил.

Вожак *(медведю).* Проси вина, поминать козла. *(Медведь кланяется.)*

Пелагея Егоровна. Аринушка, попотчуй ряженых-то. *(Арина подносит; они пьют и кланяются.)*

Вожак. А ну-ка, Мишенька, потешь честных господ! А как красные девицы, молодые, молодицы, белятся, румянятся, на молодцов поглядывают, женихов выглядывают? *(Медведь ломается.)* А как старая старушка на работу идет, сгорбимшись, съежимшись? Пришибла ее старость, одолела ее древность. *(Медведь ломается.)* Ну, поклонись теперь честным господам. *(Отходит; старик играет на гитаре, прочие ряженые пляшут; все на них смотрят; Гуслин и Митя стоят подле Любови Гордеевны; Митя шепчет ей что-то и целует. Разлюляев подходит.)*

Разлюляев. Это ты что делаешь?

Митя. А тебе что за дело?

Разлюляев. Вот я Пелагее-то Егоровне скажу, дай срок!

Митя. Ты у меня пикни только!

Гуслин *(наступает на него)*. Ты смотри у меня! нам ведь вместе итти отсюда; дело-то ночное, а переулок-то у вас глухой, так ты помни это!

Разлюляев. Что вы пристали? К чему? Я жениться хочу на ней, хочу свататься. Что взяли! Да, женюсь!

Митя. Увидим.

Разлюляев. Так за тебя, что ль, отдадут? Как же, держи карман-то... А у нас денег много!..

Арина. Ведь, иш ты, шум какой! Перестаньте вы!.. Никак кто-то стучит... *(Все прислушиваются.)* Так и есть... стучат.

Пелагея Егоровна. Отопри поди.

Арина *(уходит, потом возвращается)*. Сам приехал! *(Все встают.)*

Явление VII.

Те же, Гордей Карпыч и Коршунов.

Гордей Карпыч *(к ряженым)*. Это что за сволочь!.. Вон! *(К жене.)* Жена! Пелагея Егоровна! принимай гостя. *(Тихо.)* Зарезала ты меня!

Пелагея Егоровна. Милости просим, Африкан Савич, милости просим.

Коршунов. Здравствуйте, Пелагея Егоровна... Хе-хе-хе... Да у вас веселье! Вот как мы в пору попали.

Пелагея Егоровна. А я вот с девушками... Да, я все с девушками. Что же, святки; дочку потешить хочется.

Гордей Карпыч. Милости просим, Африкан Савич, без церемонии. *(Африкан Савич садится на кресло к столу. К жене.)* Гони девок-то вон!

Коршунов. За что их гнать! Кто ж девушек гонит... Хе-хе-хе!.. Они попоют, а мы послушаем да посмотрим на них, да еще денег дадим, а не то что гнать.

Гордей Карпыч. Как тебе угодно, Африкан Савич! Мне только конфузно перед тобою! Но ты не заключай из этого про наше необразование, — вот все жена. Никак не могу вбить ей в голову. *(К жене.)* Сколько раз говорил я тебе: хочешь сделать у себя вечер, позови музыкантов, чтобы это было во всей форме. Кажется, тебе ни в чем отказу нет.

Пелагея Егоровна. Ну уж, куда нам музыкантов... старухам. Это уж вы забавляйтесь.

Гордей Карпыч. Вот какие у них понятия об жизни! Я думаю, тебе смешно слушать.

Пелагея Егоровна. Да что понятия, понятия! Ты бы вот лучше попотчевал гостя. Не угодно ли, Африкан Савич, винца с нами, со старухами. *(Наливает мадеры.)*

Гордей Карпыч *(строго)*. Жена! с ума, что ль, сошла в самом деле? Не видывал Африкан Савич твоей мадеры-то! Шампанского вели подать... полдюжины... да проворней. Да вели зажечь свечи в гостиной, что новая небель поставлена. Там совсем другой эфект будет.

Пелагея Егоровна. Сейчас сама все сделаю. *(Встает.)* Аринушка, пойдем. Извините, соседушки!

1-я гостья. Э, матушка, и мы с тобой пойдем. Уж нам и ко дворам пора.

2-я гостья. Пора, пора! Ночи темные, собаки по переулкам лихие.

1-я гостья. Ох, лихи, лихи!.. *(Раскланиваются и уходят.)*

Явление VIII.

Гордей Карпыч, Коршунов, Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша, Лиза, девушки, Митя, Гуслин и Разлюляев.

Коршунов. Пойдем к барышням. Где это ты таких красавиц подобрал?.. Хо! *(Подходит к Любови Гордеевне.)* Здравствуйте, Любовь Гордеевна, красавица вы моя!.. *(Любовь Гордеевна кланяется.)* Примите меня в свою компанию.

Любовь Гордеевна. Мы никого от себя не гоним.

Анна Ивановна. Садитесь, так гости будете.

Коршунов. Сухо принимаете старичка. Нынче дни святочные, и поцеловаться, чай, можно.

Анна Ивановна. Зачем эти нежности заводить?

Коршунов. Гордей Карпыч, можно с дочкой поцеловаться? А я, признаться... хе-хе!.. до этого охотник. Да ведь и кто ж не любит!.. Хе-хе!..

Гордей Карпыч. Сделай милость, без церемонии.

Коршунов. Поцелуемтесь, барышня.

Любовь Гордеевна. Если тятеньке угодно... *(Целуется.)*

Коршунов. Ну, да уж со всеми по порядку.

Анна Ивановна. Я — пожалуй! Я не спесива.

Маша. Ах, стыд какой!

Лиза. Ну уж, нечего сказать, велика приятность!

Гордей Карпыч *(подходит к Мите)*. Ты зачем? Разве здесь твое место? Залетела ворона в высокие хоромы! *(Митя, Гуслин и Разлюляев уходят.)*

Явление IX.

Гордей Карпыч, Коршунов, Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша, Лиза и девушки.

Коршунов *(садясь подле Любови Гордеевны)*. Я, Любовь Гордеевна, не в вас: вы меня и поцеловать не хотели... хе-хе-хе! а я вам подарочек принес.

Пелагея Егоровна. Напрасно беспокоились.

Коршунов. Вот я вам брильянтик привез... хе-хе!.. *(Отдает.)*

Любовь Гордеевна. Это серьги! Покорно вас благодарю.

Анна Ивановна. Покажи-ка.

Маша. Но это прелестно!

Лиза. И с большим вкусом!

Коршунов. Дайте мне вашу ручку-то. *(Берет и целует.)* Я вас, ведь, очень люблю... хе-хе-хе! очень люблю, а ведь вы меня, чай, не любите, а?

Любовь Гордеевна. За что же мне вас не любить?

Коршунов. За что! Другого любите кого-нибудь, вот за что. А вы меня полюбите: я человек хороший, веселый... хе-хе-хе!..

Любовь Гордеевна. Я не знаю, что вы говорите.

Коршунов. Я говорю: полюбите меня. Что ж, я еще не стар... *(Смотрит на нее.)* Али старенек? хе-хе-хе! Ну, что ж, не беда Зато будете в золоте ходить. У мень, ведь, денег-то нет, я человек бедный... Так, каких-нибудь сот пять тысяч... хе-хе-хе, серебром. *(Берет ее за руку.)*

Любовь Гордеевна *(вставая)*. Не нужно мне ваших денег.

Гордей Карпыч. Любовь, куда ты?

Любовь Гордеевна. Я к маменьке.

Гордей Карпыч. Останься, она сюда придет. *(Любовь Гордеевна садится.)*

Коршунов. Не хотите со стариком-то посидеть. Дайте ручку, барышня, я поцелую...

Любовь Гордеевна *(дает руку)*. Ах, боже мой!

Коршунов. Ручка-то какая! хе-хе-хе!.. бархатная! *(Гладит своею рукой и потом надевает брильянтовый перстень.)*

Любовь Гордеевна *(освобождая руку)*. Ах, оставьте меня! не надо мне, не надо!

Коршунов. Ничего, мне это не убыток, авось не разорит.

Любовь Гордеевна. Да мне-то не надо. Дарите кому хотите. *(Снимает и отдает.)*

Коршунов. Дают, так назад не берут... хе-хе-хе! *(Входят: Пелагея Егоровна, за ней Арина и Егорушка с вином и стаканами).*

Явление X.

Те же и Пелагея Егоровна, Арина и Егорушка.

Гордей Карпыч. Пойдем-ка, выпьем.

Коршунов. Ну, Гордей Карпыч, потчуй, а вы, девки, величайте меня. Я почет люблю.

Пелагея Егоровна. Девушки, повеличайте.

Гордей Карпыч *(откупоривает, наливает и подносит)*. Дорогому гостю, Африкану Савичу. Кланяйся, жена!

Пелагея Егоровна. Пожалуйте, Африкан Савич, просим покорно! *(Коршунов берет.)*

Гордей Карпыч *(берет стакан)*. Жена, выпей.

Пелагея Егоровна. Ох, не люблю я что-то этого вина-то... ну, да уж выпью стаканчик.

Девушки *(запевают)*.

А кто у нас холост,
А кто не женатый?
Африкан-от холост,
Савич не женатый.
На коня садится,
Под ним конь бодрится;
К лугам подъезжает —
Луга зеленеют,
Цветы расцветают.

Коршунов *(садясь подле Любови Гордеевны)*. Вот это хорошо, это я люблю. Ну-ка, подойди сюда которая-нибудь. *(Девушка подходит, он ее треплет по щеке.)* Ишь, ты, востроглазая какая! Ведь вам, девушкам, чай, много надобно на белила на белые, на румяна на алые... хе-хе-хе!.. а у меня денег нет, за мной будет... хе-хе хе!.. держи фартук. *(Сыплет ей деньги, мелочь; девушка кланяется и уходит).* Ну, что же, Гордей Карпыч, скажи жене-то, зачем мы приехали.

Гордей Карпыч. Я тебе, жена, давно говорил, что мне в здешнем городе жить надоело, потому, на каждом шагу здесь можешь ты видеть как есть одно невежество и необразование. Для того я хочу переехать отселева в Москву. А у нас там будет не чужой человек, будет зятюшка, Африкан Савич.

Пелагея Егоровна. Ах, ах! что вы?

Коршунов. А уж мы, Пелагея Егоровна, по рукам ударили... Что вы так испугались? Я ее не съем.

Пелагея Егоровна. Ах, ах, батюшки! *(Хватает дочь.)* Моя дочь! Не отдам.

Гордей Карпыч. Жена!

Пелагея Егоровна. Батюшка, Гордей Карпыч, не шути над материнским сердцем!.. Перестань!.. Истомил всю душу.

Гордей Карпыч. Жена, ты меня знаешь!.. Ты, Африкан Савич, не беспокойся: у меня сказано — сделано.

Коршунов. Обещал, так держи слово. *(Встает, подходит к девушкам и говорит с ними тихо.)*

Любовь Гордеевна *(подходит к отцу)*. Тятенька! я из твоей воли ни на шаг не выйду. Пожалей ты меня, бедную, не губи мою молодость!..

Гордей Карпыч. Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья. В Москве будешь по-барски жить, в каретах будешь ездить. Одно дело — ты будешь жить на виду, а не в такой глуши, а другое дело — я так приказываю.

Любовь Гордеевна. Я приказу твоего не смею ослушаться. Тятенька! *(кланяется в ноги)*. Не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь!.. Передумай, тятенька!.. Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня против сердца замуж итти за немилого!..

Гордей Карпыч. Я своего слова назад не беру. *(Встает.)*

Любовь Гордеевна. Твоя воля, батюшка! *(Кланяется и отходит к матери.)*

Коршунов. Вот и делу конец! Ну-ка, девушки, свадбишную!

Девушки *(поют)*.

Поблекнут все цветики во саду,
Завянут лазоревы в зеленом,
Мой миленький, аленький без меня;
Вставай-ка ты, матушка, раненько,
Поливай все цветики частенько,
Утренней, вечернею зарей,
А еще своей горючею слезой,

Любовь Гордеевна. Не ту, не ту! Запойте другую.

Гордей Карпыч. Пойдем, Африкан Савич, в гостиную. Жена! приходите все туда.

Любовь Гордеевна. Куда мне деваться-то!..

Гордей Карпыч. Арина, перенеси вино.

Арина. Ох, постой! не до тебя. Дитятко ты мое!.. Девушки, голубушки, вот какую запоемте. *(Запевает.)*

Ты, родимая моя матушка!
В день денна моя печальница,

В ночь ночная богомольница,
Векова моя сухотница!
Прогляди ты очи ясные,
На свою на дочку глядючи,
На свою на дочь любимую,
Во последний раз, в останешный!

Любовь Гордеевна. В останешний! *(В продолжении этой песни Гордей Карпыч и Коршунов уходят; Любовь Гордеевна в объятиях матери, подруги окружают ее.)*

Действие третье.

Небольшая комната в доме Торцова, заставленная разного рода шкафами, сундуками и этажерками с посудой и серебром; мебель: диваны, кресла, столы, все очень богато и поставлено тесно. Вообще, эта комната составляет род кабинета хозяйки, откуда она управляет всем домом и где принимает своих гостей запросто. Одна дверь в залу, где обедают гости, другая—во внутренние комнаты.

Явление I.

Арина *сидит на стуле, у двери в залу, подле нее несколько девушек и женщин.*

Арина *(указывая в залу)*. Не ждали-то матушки, не чаяли! Налетел ястребом, как снег на голову, вырвал нашу лебедушку из стада лебединого, от батюшки, от матушки, от родных, от подруженек. Не успели и опомниться!.. Уж и что это на белом свете деется! Люди-то нынче пошли злы-обманчивы, лукавы-подходчивы. Обошел Гордея Карпыча тем да другим, ровно туманом каким, а тот-то, на старости, да польстись на его богачество! Красоту-то нашу писаную да за старого, за постылого и сговорили. Вон она, моя голубушка, сидит — на свет не глядит. Ох, тошнехонько мне! На то ль я тебя выходила да вынянчила, на своих руках выносила, как птичку какую в хлопочках берегла!.. А еще недавнушко мы с ней так-то вот растолковалися. Не отдадим, говорю, тебя, дитятко, за простого человека; разве какой королевич из чужих земель наедет да у ворот в трубу затрубит. А вот и не вышло по-нашему: вон он, разлучитель-то наш сидит, толстый да губастый! Ишь, на нее поглядывает да посмеивается — любо ему! О, чтоб тебе пусто было! Ну, вот покушали, встают, ступайте за дело. *(Встает со стула; женщины уходят. Входит Пелагея Егоровна.)*

Явление II.

Арина и Пелагея Егоровна.

Пелагея Егоровна. Поди-ка ты, Аринушка, пособи со стола сбирать... да... А я отдохну, посижу, — устала.

Арина. Как не устать, родная ты моя, день-деньской на ногах, молоденькая ли ты!

Пелагея Егоровна *(садится на диван)*. Ох!.. да самовар-то чтоб туда подали, в девичью, большой... который самый-то большой. Да сыщи Аннушку, пошли ко мне.

Арина. Слушаю, слушаю.

Пелагея Егоровна. Да... поди, поди... Ох, моченьки моей нет! *(Арина уходит.)* Всю головушку разломило! Горе-то горем, а тут хлопоты еще. Да, да, хлопот-то что! ай-ай-ай! Сбилась с ног, совсем сбилась! Дела-то много, а в голове все не то... И там нужно, и здесь нужно, а ухватиться не знаю за что... Право... да... *(Садится, задумавшись.)* Какой это жених, какой жених... ах-ах-ах!.. Где тут любви ждать!.. На богатство, что ли, она польстится?.. Она теперь девушка в самой поре, сердчишко ведь тоже, чай, бьется иногда. Ей бы теперь хоть бедненького, да друга милого. Вот бы и житье... вот бы и рай... *(Анна Ивановна входит.)*

Явление III.

Пелагея Егоровна и Анна Ивановна.

Пелагея Егоровна. На-ка тебе ключи-то от чаю. Поди, разлей гостям-то; ну, да там все, что нужно, уж сама знаешь! Я-то уж ноги отходила, а тебе что? — ты бабочка молоденькая... да... послужи.

Анна Ивановна. Что ж не послужить, не велика работа, руки не отвалятся *(берет ключи)*.

Явление IV.

Те же и Митя.

Пелагея Егоровна. Что тебе, Митенька, надобно?

Митя *(удерживая слезы)*. Я-с... я-с, Пелагея Егоровна, за всю вашу ласку и за все ваши снисхождения, и даже чего, может быть, и не стою... как вы, по сиротству моему, меня не оставляли и вместо матери... я... вам должен быть всю жизнь благодарен и завсегда богу молиться. *(Кланяется в ноги.)*

Пелагея Егоровна. Да что ты, Митя?

Митя. Благодарю вас за все-с. Теперича прощайте, Пелагея Егоровна! *(Встает.)*

Пелагея Егоровна. Куда ж ты?

Митя. К матушке хочу ехать-с!

Пелагея Егоровна. Надолго ли же ты едешь?

Митя. Да у хозяина отпросился на праздники, а уж надо так полагать, что я там вовсе останусь.

Пелагея Егоровна. За что ты это, Митя, нас бросить хочешь?

Митя *(переминаясь)*. Да так уж! Уж что же... я уж так порешился.

Пелагея Егоровна. А когда же ты едешь?

Митя. Сегодня в ночь *(молчание)*. Так думаю, до ночи-то с вами не увидишься, так я проститься пришел.

Пелагея Егоровна. Ну, что ж, Митя, коли тебе там надобно... Мы тебя не держим, бог с тобой... Прощай!

Митя *(кланяется в ноги Пелагее Егоровне, целуется с нею и с Анной Ивановной, потом так кланяется и останавливается)*. Надо бы и с Любовью Гордеевной проститься... Что ж, ведь в одном доме жили... Либо жив буду, либо нет...

Пелагея Егоровна. Да, надо, надо. Что ж, простись, простись!.. Аннушка, поди, покличь Любушку.

Анна Ивановна *(покачав головой)*. Один ведет за рученьку, другой — за другую, третий стоит, слезы ронит: любил, да не взял. *(Уходит.)*

Явление V.

Пелагея Егоровна и Митя.

Пелагея Егоровна. А у нас-то, Митенька, какое горе-то! Как его размыкать-размотать — не придумаю... Ровно меня громом ошибло, в себя не приду.

Митя. Кто же теперича этому виноват-с? Не на кого вам плакаться, Пелагея Егоровна-с, — сами отдаете.

Пелагея Егоровна. Сами... сами... да, сами отдаем. Ох, только не моя, Митя, воля; кабы моя воля была, нешто б я отдала! Что я, разве враг ей!

Митя. Человек-то, как по наслышке, не больно-то завидный. Ничего хорошего, окромя дурного, не слыхать.

Пелагея Егоровна. Знаю, Митенька, знаю.

Митя. А ведь уже теперича, по этим слухам, надо так сказать, что, должно быть, Любови Гордеевне за этаким человеком, и притом в отдаленности, совсем погибать надобно-с.

Пелагея Егоровна. Ох, уж не говори ты мне, не говори... и без тебя тошнехонько. Глаза-то все проглядела, на нее глядючи! Хоть бы теперь-то наглядеться на нее про запас. Точно я ее хоронить собираюсь.

Митя *(почти плача)*. Так это что ж такое! Нешто этак-то делают? Ведь она, чай, ваша родная дочь!..

Пелагея Егоровна. Кабы не родная, так я бы не плакала и не убивалась; не надрывалось бы мое сердце на ее слезы.

Митя. Чем плакать-то, не отдавали б лучше. За что девичий век заедаете, в кабалу отдаете? Нешто это не грех? Ведь, чай, вам за нее надоть будет богу ответ дать.

Пелагея Егоровна. Знаю я, все знаю, да говорю ж я тебе, что не моя воля. Что ты пристал ко мне? Мне и без тебя тошно, а ты еще меня расстраиваешь. А ты бы, Митя, пожалел меня!

Митя. Оно так-с, Пелагея Егоровна, да не переносно мне это горе-то: может, тяжельше, чем вам. Я такую в вас веру, Пелагея Егоровна, взял, что все равно как матушке своей родной откроюсь. *(Утирает глаза платком.)* Вечор-то, как у вас вечеринка-то была... (*Слезы мешают говорить.*)

Пелагея Егоровна. Ну, ну, говори... говори.

Митя. Ну, вот и столковались мы с ней в потемочках, чтобы итти нам с ней к вам, матушка, да к Гордею Карпычу — просить вас низменно: благословите, дескать, нас, а нам уж друг без друга не жить... *(Утирает слезы.)* А нынче вдруг поутру слышу... опустились мои рученьки!..

Пелагея Егоровна. Что ты?!

Митя. Вот перед истинным, Пелагея Егоровна.

Пелагея Егоровна. Ах, ты, сердечный! Экой ты горький паренек-то, как я на тебя посмотрю! *(Входит Любовь Гордеевна.)*

Явление VI.

Те же и Любовь Гордеевна.

Пелагея Егоровна. Вот, Любушка, Митя проститься пришел: он едет от нас к матушке к своей.

Митя *(кланяется)*. Прощайте, Любовь Гордеевна!... Не поминайте лихом!

Любовь Гордеевна. Прощай, Митя! *(Кланяется.)*

Пелагея Егоровна. Поцелуйтесь на прощанье-то: ведь, может, не приведет бог и свидеться... да... что ж такое! *(Митя и Любовь Гордеевна целуются: она садится на диван и плачет; Митя тоже плачет.)* Будет, будет вам плакать-то! Вы меня с ума сведете!

Митя. Эх, пропадай моя голова! Уж была не была! *(Подходит к Пелагее Егоровне.)* Пелагея Егоровна, жаль вам дочь отдавать за старого аль нет?

Пелагея Егоровна. Кабы не жаль, так бы я не плакала.

Митя. Прикажите говорить, Пелагея Егоровна.

Пелагея Егоровна. Говори.

Митя. Вот моя речь какая: соберите-ка вы ее да оденьте потеплее ужотко к полуночи. Пусть выдет на крылечко потихоньку: посажу я ее в саночки-самокаточки — да

и был таков! Не видать тогда ее старому, как ушей своих. А моей голове заодно уж погибать! Увезу ее к матушке, да и повенчаемся. Эх, дайте душе простор, — разгуляться хочет! По крайности, коли придется и в ответ итти, так уж то буду знать, что потешился.

Пелагея Егоровна. Что ты, что ты, беспутный!

Любовь Гордеевна. Что ты, Митя, выдумал!

Митя. Стало, не любишь? Аль разлюбила?

Любовь Гордеевна. Да ты говоришь-то что-то страшно!

Пелагея Егоровна. Что ты, беспутный, выдумал-то! Да кто ж это посмеет такой грех на душу взять!.. Да... опомнись... что ты!

Митя. Ведь я говорю: коли жаль; а коли не жаль, так отдавайте за Африкана Савича, закабалите на веки вечные. Сами же, глядя на ее житье горемычное, убиваться станете. Спохватитесь вы с Гордей-то Карпычем, да уж поздно будет.

Пелагея Егоровна. Да как же без отцовского благословения? Ну, как же, ты сам посуди!

Митя. Конечно, без благословенья что за житье! Так уж благословите вы, Пелагея Егоровна... *(становится на колени).* А Гордей Карпыч, может... и сам по времени как-нибудь...

Пелагея Егоровна. Как же мне быть-то с вами! Я совсем с ума сошла... да... помешалася. Ничего не знаю, не помню... Да, да... головушка моя закружилася... Горько-горько моему сердцу, голубчики!..

Любовь Гордеевна *(подходит к Мите).* Нет, Митя, не бывать этому! Не томи себя понапрасну, перестань! *(Поднимает его.)* Не надрывай мою душу! И так мое сердце все изныло во мне. Поезжай с богом. Прощай!

Митя. За что ж ты меня обманывала, надо мной издевалася?

Любовь Гордеевна. Полно ты, Митя. Что мне тебя обманывать, зачем? Я тебя полюбила, так сама же тебе сказала. А теперь из воли родительской мне выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтоб я шла замуж. Должна я ему покориться, такая наша доля девичья. Так, знать, тому и быть должно, так уж оно заведено исстари. Не хочу я супротив отца итти, чтоб про меня люди не говорили да в пример не ставили. Хоть я, может быть, сердце свое надорвала через это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мне в глаза насмеяться не смеет. Прощай. *(Целуются.)*

Митя. Ну, знать, не судьба! *(Любовь Гордеевна садится на диван и плачет.)* Прощай! *(Кланяется Пелагее Егоровне.)* Прощайте, Пелагея Егоровна, благодетельница

вы моя! Век не забуду вашей ласки да милости ко мне: не забывали сироту на чужой стороне.

Пелагея Егоровна. Прощай, голубчик, не осуди нас в чем, — грех тебе будет. Дай бог тебе счастливо... а мы тебя не забудем. *(Митя кланяется и уходит.)*

Явление VII.

Пелагея Егоровна и Любовь Гордеевна и потом Коршунов.

Пелагея Егоровна. Что, Любушка, жаль парня-то!.. Эко, девушка... ах! А мне и невдомек, что ты его полюбила-то. Да и где мне, старухе, догадаться... да. Что ж я? Вот поплакать наше дело, а власти над дочерью никакой не имею. А хорошо бы! Полюбовалась бы на старости! Парень-то такой простой, сердцем мягкий, и меня-то бы, старуху, любил. Уж как погляжу я на тебя, девушка, как тебе не грустить! Да помочь-то мне тебе, сердечная, нечем!

Любовь Гордеевна. Ну, маменька, что там и думать, чего нельзя, только себя мучить. *(Сидит молча; стучат; голос Коршунова: „Можно войти?“)*

Пелагея Егоровна. Войдите, батюшка.

Коршунов *(входя)*. А, вот она, невеста-то моя, куда спряталась... хе!.. найду, везде найду! Позвольте-ка нам, Пелагея Егоровна, с вашей дочкой по секрету поговорить о своих делах.

Пелагея Егоровна. Изволь, батюшка. *(Уходит.)*

Коршунов *(садится подле Любови Гордеевны)*. Об чем это плакать-то, сударыня? Стыдно, стыдно... хе... хе... хе... Вот я и постарше, да не плачу... *(смотрит на нее проницательно)*. Я ведь знаю об чем: чай, за молоденького хочется? Так ведь это, миленькая вы моя... *(берет руку и целует)* глупость одна девичья. Вот послушайте-ка, что я вам скажу... Я правду буду говорить, начисто, обманывать не люблю: мне не из чего. Станете слушать, а?

Любовь Гордеевна. Говорите.

Коршунов. Хорошо-с. Вот начнем хоть с этого. Молодой разве оценит, что вы его полюбите, а? Молодого-то ведь всякая полюбит, ему это не в диковинку, а старику-то дорого. Старик-то за любовь и подарочком, и тем, и сем, и золотом, и бархатом — и не знает, чем утешить. *(Целует у нее руки.)* А в Москве хороших вещей в магазинах много, есть что подарить. Так вот старика-то и хорошо полюбить... Вот вам раз. А вот еще что бывает с молодым-то мужем да с хорошим-то: ведь они народ ветренный, глядишь — и приволокнется за кем-нибудь на стороне, либо в него какая-нибудь сударынька влюбится, а жена-то сохни... Пойдут попреки да ревность... А что такое ревность, а? хе... хе... хе!.. Знаете ли вы, сударыня, что такое ревность?

Любовь Гордеевна. Нет, не знаю.

Коршунов. А я знаю... Это не то, что иголкой пальчик уколоть, гораздо побольнее будет. Ведь она, проклятая, сушит человека. От ревности-то режут друг друга, мышьяком отравляются! *(Смеется судорожно и с кашлем.)* А в старика-то кто влюбится? Стало-быть, жене-то и покойно. Да еще вот что скажу вам, драгоценная моя барышня. Молодые-то загуливать любят, веселости, да развлечения, да дебоши разные, а жена-то сиди дома, жди его до полуночи. А приедет-то пьяненький, заломается, заважничает. А старик-то все подле жены так и будет сидеть; умирать будет, прочь не отойдет. Да все бы в глазки глядел да все бы ласкал, да ручки бы целовал. *(Целует.)* Вот так.

Любовь Гордеевна. А вас-то жена покойная любила?

Коршунов *(смотрит на нее пристально)*. А вам, сударыня, зачем это?

Любовь Гордеевна. Так, хотелось знать.

Коршунов. Знать хотелось?.. *(Встает.)* Нет, не любила, да и я не любил ее. Она и не стоила того, чтоб ее любить-то. Я ее взял бедную, нищую, за красоту только за одну; все семейство призрел; спас отца из ямы; она у меня в золоте ходила.

Любовь Гордеевна. Любви золотом не купишь.

Коршунов. Люби не люби, да почаще взглядывай. Им, видишь ты, деньги нужны были, нечем было жить: я давал, не отказывал; а мне вот нужно, чтоб меня любили. Что ж, я волен этого требовать или нет? Я ведь за то деньги платил. На меня грех пожаловаться: кого я полюблю — тому хорошо жить на свете; а уж кого не полюблю, та не пеняй! *(Разгорячась ходит.)* Да, я враг тому человеку, уж лучше беги с моих глаз долой: я словом да взглядом, пуще чем делом доеду; я проходу... отдыху не дам человеку... я... *(Останавливается и хохочет.)* А вы и в самом деле подумали, что я такой злой?.. Хе... хе!.. Это я нарочно, так, шучу! Я простой, я добрый старик... А уж вас-то я буду на руках носить *(припевает)*, в люлечке качать, приговаривать... *(Целует у ней руки. Гордей Карпыч входит.)*

Явление VIII.

Любовь Гордеевна, Коршунов и Гордей Карпыч.

Гордей Карпыч. А, вот где зятюшка-то! А мы тебя ищем. Мы уж там за шампанею принялись. Пойдем-ка к гостям, у нас без тебя и пир не в пир.

Коршунов. Мне и здесь хорошо.

Гордей Карпыч. Ну, так мы велим сюда подать, да здесь, значит, с тобой и разопьем. *(Подходит к двери.)* Эй, малый! Дай сюда вина! На серебряном подносе. *(Садится.)* Ну, зятюшка, что скажешь?

Коршунов. Ничего.

Гордей Карпыч. Как ничего?

Коршунов. Так ничего.

Гордей Карпыч. Нет таки однако? *(Смотрит на него.)* Можешь ты меня теперь понимать?

Коршунов. Как не понимать.

Гордей Карпыч. Вот мы теперь подгуляли маленько, так ты мне скажи, что я за человек? Могут ли меня здесь оценить?

Коршунов. Где же им оценить.

Гордей Карпыч. Нет, ты вот что скажи: все у меня в порядке? В другом месте за столом-то прислуживает молодец в поддевке, либо девка, а у меня фицыянт в нитяных перчатках. Этот фицыянт, он ученый, из Москвы, он все порядки знает: где кому сесть, что делать. А у других что! Соберутся в одну комнату, усядутся в кружок, песни запоют мужицкие. Оно, конечно, и весело, да я считаю так, что это низко, никакого тону нет. Да и пьют-то что, по необразованию своему! Наливки там, вишневки разные... а и не понимают они того, что на это есть шампанское! Ох! если б мне жить в Москве, али бы в Питербурхе, я бы, кажется, всякую моду подражал.

Коршунов. Неужто всякую?

Гордей Карпыч. Всякую. Сколько б хватило моего капиталу, а уж себя бы не уронил. Ты, Любовь, у меня смотри, веди себя аккуратно, а то жених-то, ведь он московский, пожалуй, осудит. Ты, чай, и ходить-то не умеешь и говорить-то не понимаешь, где что следует.

Любовь Гордеевна. Я, тятенька, говорю, что чувствую; я в пансионе не училась. *(Входит официант и подает вино Коршунову и Гордею Карпычу; ставит бутылки на стол и уходит.)*

Гордей Карпыч. Так-то, зятюшка! Вот и пусть их знают, каков Гордей Карпыч Торцов! *(Входит Егорушка).*

Егорушка. Дяденька, Гордей Карпыч, пожалуйте сюда-с.

Гордей Карпыч. Что тебе?

Егорушка. Пожалуйте. История вышла-с. *(Смеется.)*

Гордей Карпыч *(подходя)*. Что там?

Егорушка. Да дяденька Любим Карпыч вошли.

Гордей Карпыч. Зачем пускали?

Егорушка. Им, должно быть, в голову вступило, никак не удержим. *(Хохочет.)*

Гордей Карпыч. Что же он делает?

Егорушка. Гостей разгоняет-с. *(Хохочет.)* Вы, говорит, рады чужой хлеб есть. Я, говорит, тоже хозяин... я, говорит... *(Хохочет.)*

Гордей Карпыч. Тсс... снял он мою голову! *(Уходит с Егорушкой.)*

Коршунов. Что это там у них?

Любовь Гордеевна. Не знаю. Должно быть, дяденька что-нибудь... На него иногда находит. *(Входят: Разлюляев, Маша и Лиза.)*

Явление IX.

Любовь Гордеевна, Коршунов, Разлюляев, Маша и Лиза.

Пелагея Егоровна *(в дверях)*. Где братец-то?... Где Любим Карпыч-то? Что он наделал — беда.

Любовь Гордеевна. Его здесь нет, маменька. *(Пелагея Егоровна уходит.)*

Разлюляев. Вот так раз! Славные штучки Любим Карпыч отмачивает! Ха... ха... ха!... Такие пули отливает, что только люли!

Лиза. Совсем не смешно, одно невежество!

Маша. Я просто не знала, куда деваться от стыда. *(Садится на диван. Входит Любим Карпыч.)*

Явление X.

Те же и Любим Карпыч.

Лиза. Ах, боже мой, опять!

Маша. Это ужасно!

Разлюляев. Ха-ха-ха!

Любим Карпыч. Гур-гур-гур... буль-буль-буль!... С пальцем девять, с огурцом пятнадцать! Приятелю! *(Протягивает руку Коршунову.)* Наше вам-с!... Тысячу лет со днем не видались. Как поживаете?

Коршунов. А, это ты, Любим?

Любим Карпыч *(загораживая лицо руками)*. Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик.

Коршунов. Я тебя, братец, помню: ты по городу ходил, по копеечке сбирал.

Любим Карпыч. Ты помнишь, как я по копеечке сбирал, а помнишь ли ты, как мы с тобой погуливали, осенние темные ночи просиживали, из трактира в погребок перепархивали? А не знаешь ли ты, кто меня разорил, с сумой по миру пустил?

Коршунов. А ты сам чего зевал? Ведь тебя за ворот не тянули, любезный. Сам виноват.

Любим Карпыч. Я-то дурак, да ведь и тебе не велика честь. Ты меня так возвеличил, в такое звание возвел, что вот я ничего не украл, а людям в глаза глядеть совестно.

Коршунов. Ты все такой же шутник! *(Обращаясь к Любови Гордеевне.)* Весельчак дядюшка-то у вас. Видно уж, по старому знакомству, дать ему целковенький.

Любим Карпыч. Тсс... Тут не целковым пахнет! Отдай старый долг, а за племянницу — миллион триста тысяч!... Дешевле не отдам.

Коршунов *(смеется)*. Уступки не будет?

Любим Карпыч. Ни копейки!

Разлюляев. Ай да Любим Карпыч! Меньше не бери. *(Входит Гордей Карпыч.)*

Явление XI.

Те же и Гордей Карпыч.

Гордей Карпыч. А, ты здесь! Что ты со мной делаешь? Вон сейчас!

Коршунов. Погоди, Гордей Карпыч, не гони, что его гнать! Пусть поломается, пошутит. Хе-хе-хе!...

Любим Карпыч. Это брат шутит-то, что за тебя дочь отдает, а я сшучу с тобой такую шутку, что будет тебе не по желудку.

Гордей Карпыч. Ему тут не место. Ступай вон!

Любим Карпыч. Брат, погоди, не гони! Ты думаешь, Любим Торцов пришел шутки шутить? Ты думаешь, пьян Любим Торцов? Я пришел вам загадки загадывать. *(Коршунову.)* Отчего у осла длинные уши? Ну-ка, давай ответ!

Разлюляев. Вот так задача!

Коршунов. Почем я знаю.

Любим Карпыч. Для того, чтобы все знали, что он осел. *(Брату.)* Вот тебе задача: за кого ты дочь отдаешь?

Гордей Карпыч. Это не твое дело! Ты меня не смеешь спрашивать.

Любим Карпыч. А вот тебе еще вопрос: честный ты купец или нет? Коли ты честный — не водись с бесчестным, не трись подле сажи — сам замараешься.

Коршунов. А ты шути, да не забывайся, любезный!. Выгони его или вели ему замолчать.

Любим Карпыч. Это про тебя!... Видно, ты чист, как трубочист.

Гордей Карпыч. Брат, уйди честью, а не то худо.

Любовь Гордеева *(вскакивает в испуге)*. Дяденька, перестаньте!

Любим Карпыч. Не замолчу! Теперь кровь заговорила! *(Все домашние и гости входят.)*

Явление XII.

Те же, Пелагея Егоровна, Анна Ивановна, Гуслин, гости, гостьи и прислуга.

Любим Карпыч. Послушайте, люди добрые! Обижают Любима Торцова, гонят вон. А чем я не гость? За что меня гонят? Я не чисто одет, так у меня на совести чисто. Я не Коршунов: я бедных не грабил, чужого веку не заедал, жены ревностию не замучил... Меня гонят, а он первый гость, его в передний угол сажают. Что ж, ничего, ему другую жену дадут: брат за него дочь отдает! Ха-ха-ха! *(Хохочет трагически.)*

Коршунов *(вскакивает)*. Не верьте ему, он врет, он это по злобе на меня говорит, спьяну.

Любим Карпыч. Что за злоба! Я тебе давно простил. Я человек маленький, червяк ползущий; ничтожество из ничтожеств! Ты другим-то зла не делай.

Гордей Карпыч *(прислуге)*. Уведите его!

Любим Карпыч *(поднимая один палец кверху)*. Сс... Не трогать! Хорошо тому на свете жить, у кого нету стыда в глазах!... О, люди, люди!... Любим Торцов пьяница, а лучше вас! Вот теперь я сам пойду. *(Обращаясь к толпе.)* Шире дорогу — Любим Торцов идет! *(Уходит и тотчас возвращается.)* Изверг естества! *(Уходит.)*

Коршунов *(принужденно хохочет)*. Так этакой-то у тебя порядок в доме! Этакие ты моды завел: у тебя пьяные гостей обижают! Хе-хе-хе! Я, говорит, в Москву поеду, меня здесь не понимают. В Москве-то уж такие дураки повывелись, там смеются над ними. Зятюшка, зятюшка! Хе-хе-хе! Любезный тестюшка! Нет, шалишь, я даром себя обидеть не позволю. Нет, ты теперь приди-ка ко мне да покланяйся, чтоб я дочь-то твою взял.

Гордей Карпыч. Я к тебе пойду кланяться?

Коршунов. Пойдешь, я тебя знаю. Тебе нужно свадьбу сделать, хоть в петлю лезть, да только б весь город удивить, а женихов-то нет. Вот несчастье-то твое! Хе-хе-хе!...

Гордей Карпыч. Опосля этого, когда ты такие слова говоришь, я сам тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдам! С деньгами, что я за ней дам, всякий человек будет... *(Входит Митя и останавливается в дверях.)*

Явление XIII.

Те же и Митя.

Митя *(обращаясь к толпе)*. Что такое за шум-с?

Гордей Карпыч. Вот за Митьку отдам!

Митя. Чего-с?

Гордей Карпыч. Молчи! Да... за Митьку отдам... завтра же. Да такую свадьбу задам, что ты не видывал: из Москвы музыкантов выпишу, один в четырех каретах поеду.

Коршунов. Посмотрим, посмотрим. Придешь прощенья просить, придешь! *(Уходит.)*

Явление XIV.

Те же без Коршунова.

Пелагея Егоровна. За кого, Гордей Карпыч, ты сказал?

Гордей Карпыч. За Митьку... Да! Ишь разважничался! точно я хуже его! „Пойдешь кланяться!". Врет он, не пойду кланяться! На зло ему за Митрия отдам. *(Все удивлены.)*

Митя *(берет Любовь Гордеевну за руку и подходит к Гордею Карпычу)*. Зачем же на зло, Гордей Карпыч? Со злом такого дела не делают. Мне на зло не надобно-с. Лучше уж я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, так уж вы благословите нас, как следует — по-родительски, с любовью. Как любим мы друг друга, и даже до этого случаю хотели вам повиниться... А уж я вам вместо сына, то-есть, завсегда всей душой-с.

Гордей Карпыч. Что, что, всей душой? Ты уж и рад случаю. Да как ты смел подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебе? С кем ты говоришь, вспомни!

Митя. Я оченно хорошо знаю, что вы мой хозяин, и что я, по бедности своей, не могу быть им ровней; но впрочем, судите, как хотите, я весь тут-с: я вашу дочку полюбил душою-с. *(Входит Любим Карпыч и становится в толпе.)*

Явление XV.

Те же и Любим Карпыч.

Гордей Карпыч. Как, чай, не любить. У тебя губа-то не дура! За ней ведь денег много, так тебе, голому-то, на голодные зубы хорошо.

Митя. Для меня столь обидно от вас это слышать, что я не имею слов-с... Лучше молчать. *(Отходит.)* Извольте, Любовь Гордеевна, вы говорить-с.

Любовь Гордеевна. Я тятенька, вашей воле не перечила! Коли хотите вы моего счастья, отдайте меня за Митю.

Пелагея Егоровна. Что это и в самом деле, Гордей Карпыч, капризничаешь... да! Что в самом деле! Я было уж обрадовалась, насилу-то от сердца отлегло, а ты опять

за свое. Уж говори что-нибудь одно, а то что это такое... право. То скажешь за одного, то за другого. Что она тебе, на мытарство, что ли, досталась?

Любим Карпыч. Брат, отдай Любушку за Митю.

Гордей Карпыч. Ты опять здесь? Да ты понимаешь ли, что ты со мной нынче сделал? Ты меня оконфузил на весь город! Кабы ты чувствовал это, ты бы не смел и на глаза-то мне показываться, а ты еще с советами лезешь! Уж пускай бы говорил человек, да не ты.

Любим Карпыч. Да ты поклонись Любиму Торцову в ноги, что он тебя оконфузил-то.

Пелагея Егоровна. Именно, Любимушка, надо тебе в ноги поклониться... да... именно. Снял ты с нашей души грех великий; не замолить бы его нам.

Гордей Карпыч. Что ж я изверг, что ли, какой в своем семействе?

Пелагея Егоровна. Изверг не изверг, а погубил бы дочь-то из-за своей глупости... Да! Я тебе от простоты моей скажу. Отдают за стариков-то и не Африкану Савичу чета, да и то горе мычут.

Любим Карпыч. Пустите меня! *(Поет.)* Трум-ту-тум, трум-ту-тум! *(Пляшет.)* Посмотри на меня, вот тебе пример — Любим Торцов перед тобой живой стоит. Он по этой дорожке ходил — знает, какова она! И я был богат и славен, в каретах ездил, такие шутки выкидывал, что тебе и в голову не придет, а потом верхним концом да вниз. Вот погляди, каков я франт!

Гордей Карпыч. Ты мне что ни говори, я тебя слушать не хочу; ты мне враг на всю жизнь.

Любим Карпыч. Человек ты или зверь? Пожалей ты и Любима Торцова! *(Становится на колени.)* Брат, отдай Любушку за Митю, — он мне угол даст. Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уж мне паясничать на морозе-то из-за куска хлеба, хоть под старость-то да честно пожить. Ведь я народ обманывал: просил милостыню, а сам пропивал. Мне работишку дадут; у меня будет свой горшок щей. Тогда-то я бога возблагодарю. Брат, и моя слеза до неба дойдет! Что он беден-то! Эх, кабы я беден был, я бы человек был. Бедность не порок.

Пелагея Егоровна. Гордей Карпыч, неужели в тебе чувства нет?

Гордей Карпыч *(утирает слезу)*. А вы и в самом деле думали, что нет?! *(Поднимает брата.)* Ну, брат, спасибо, что на ум наставил, а то было свихнулся совсем. Не знаю, как и в голову вошла такая гнилая фантазия. *(Обнимает Митю и Любовь Гордеевну.)* Ну, дети, скажите спасибо дяде Любиму Карпычу, да живите счастливо. *(Пелагея Егоровна обнимает детей).*

Гуслин. Дяденька, теперь и мне можно?

Гордей Карпыч. Можно, можно. Просите все, кому что нужно: теперь я стал другой человек.

Гуслин. Ну, Аннушка, дождались и мы с тобой.

Анна Ивановна. Ну, теперь пойдет у нас пляска, только держи шапку.

Пелагея Егоровна. Уж попляшем, попляшем.

Разлюляев *(подходит к Мите и ударяет его по плечу).* Митя!... Для приятеля... все жертвую... Сам любил, а для тебя... жертвую. Давай руку. *(Ударяет по руке.)* Одно слово... бери, значит, жертвую для тебя... Для друга ничего не жаль! Вот как у нас, коли на то пошло! *(Утирается полой и целует Митю.)* А это он правду говорит: пьянство не порок... то бишь — бедность не порок... Вот всегда провруcь!

Пелагея Егоровна. Ах, да вот и все тут! *(К девушкам.)* Ну-ка, девушки, веселенькую... да, веселенькую... Уж мы теперь свадьбу-то по душе отпируем, по душе... *(Девушки начинают запевать.)*

Любим Карпыч. Тсс... Слушай команду! *(Запевает; девушки подтягивают.)*

У нас дело-то сделано.
По рукам у нас ударено,
Быть сговору-девишнику;
Быть девичьему вечеру.

1854. А. Н. Островский.

Общее построение комедии.

1. К кому из действующих лиц комедии относится заглавие ее?
2. Как социальный мотив неравной любви развернут в сюжете пьесы? Укажите завязку, момент наивысшего напряжения и развязку действия.
3. Можно ли найти „борьбу“ в ходе действия комедии?
4. Найдите момент, когда эта „борьба“ готова была принять реальные формы. Почему же она не осуществилась?

Характеры.

1. Чем интересна фигура Гордея Карпыча Торцова, как представителя торгового капитализма?
2. Охарактеризуйте отношение Гордея Карпыча к своему прошлому и его основное стремление в настоящем.
3. Что влекло Гордея Карпыча к Коршунову?
4. В чем видит он „образование“? Найдите в комедии все места, обрисовывающие взгляд Гордея Карпыча на этот предмет. Отметьте комические черты Гордея Торцова в отношении к этому вопросу.
5. Охарактеризуйте положение Гордея Карпыча в своей семье. Как характеризует его Пелагея Егоровна? Как характеризует Гордея Торцова применяемый к нему эпитет сам?

Найдите в комедии места, обрисовывающие Гордея Карпыча с этой стороны, и выпишите его собственные, характерные в этом отношении выражения.

6. Дайте характеристику Любима Торцова — по сравнению с его братом. Изложите его жизненную историю и вскройте в ней черты бытовой правды.

Перечитайте явления XI и XII последнего акта: каким выступает в них Любим Торцов? Как объясните вы его восклицание — „шире дорогу! Любим Торцов идет!“ В чем он противопоставляет себя Коршунову и Гордею Торцову? Нет ли некоторой идеализации в образе Любима Торцова? Подтвердите ссылками на текст комедии.

7. Дайте очерк характера Мити. Под влиянием каких условий личной жизни и социально-экономических отношений в ту эпоху мог сложиться такой характер?

В чем драматизм положения Мити?

8. Очертите характер Любови Гордеевны. Под влиянием каких семейных условий и традиций купеческого быта сложился этот характер?

9. Как объясните вы порыв Мити увезти Любовь Гордеевну? Является ли это выражением проблеска воли и силы к борьбе? Мог ли бы осуществиться этот замысел в условиях тогдашней обстановки?

Как поймете вы отказ Любови Гордеевны от предложения Мити в этом случае?

10. Как объясните вы неожиданную развязку действия комедии: в чем ее неожиданность? Можно ли было ожидать такой развязки? Какой развязки вы ждали по ходу пьесы и по характерам действующих лиц?

Какую роль сыграл в этом случае Любим Торцов?

Какая роль принадлежит Мите в развязке комедии?

Произошло ли действительно перерождение Гордея Карпыча?

Язык комедии.

1. Как говорит Митя? Найдите разницу в его речи с Егорушкой, Гуслиным, Разлюляевым, Любимом Карпычем, с одной стороны, и с Гордеем Карпычем, Пелагеей Егоровной и Любовью Гордеевной, с другой стороны.

Какой смысл имеет частица *с* в его речи и в речи других действующих лиц (кого еще)?

Отыщите в речах действующих лиц нелитературные выражения и обороты (например: „Никаких делов нет“, „Знамши я все это, не могу своего сердца сообразить“...).

3. Как пользуются действующие лица иностранными словами?

4. Чем интересна речь Любима Торцова?

Выпишите из нее слова-складки.

У кого еще из действующих лиц найдете такие же обороты словами-складками?

5. Отыщите и выпишите народные выражения: постоянные эпитеты, двойные слова, сравнения, уменьшительно-ласкательные формы слов и т. п.

6. Какие сцены воспроизводят народно-поэтические обычаи и обряды?

7. Сохранились ли подобные обычаи и обряды в вашей местности?

8. Какое значение имеют в комедии имена и фамилии действующих лиц?

9. Выпишите комические слова и обороты речи действующих лиц комедии.

10. Кто же в пьесе является комическим лицом? Подтвердите ваш ответ ссылками на текст.

Темы.

1. Биография Гордея Карпыча Торцова.
2. Любим и Гордей Торцовы (сравнительная характеристика).
3. В старинной купеческой семье.

Работа над комедией.

1. Проработайте текст комедии для постановки отдельных сцен ее или даже целиком.
2. Продумайте интонации тем речей действующих лиц.
3. Продумайте также движения, манеры, позы действующих лиц, а равно и костюмы.

21. Темное царство.

(Из IV главы.)

„Бедность не порок“ нам очень ясно представляет, как честная, но слабая натура глохнет и погибает под бессмыслием самодурства. Гордей Карпыч Торцов, отец Любови Гордеевны, брат Любима Торцова и хозяин Мити, есть уже самодур в полном смысле. Он и крут, и горд, и рассудка не имеет, по отзыву жены его, Пелагеи Егоровны. Целый дом дрожит перед ним. Особенно грозен сделался он с тех пор, как подружился с Африканом Саввичем Коршуновым и стал „перенимать новую моду“. На этой дружбе и пристрастии Гордея Карпыча к новой моде основана завязка комедии. Читатель помнит, конечно, что Торцов хочет выдать за Африкана Саввича дочь свою, которая любит приказчика Митю и сама им любима... На этом основании критика предположила, что „Бедность не порок“ написана Островским с той целью, чтобы показать, какие вредные последствия производит в купеческой семье отступление от старых обычаев и увлечение новой модой... За это, с одной стороны, неумеренно превозносили Островского, с другой — беспощадно бранили. Мы не станем спорить ни с теми ни с другими критиками и не станем разбирать справедливости их предположения. Положим даже, что у Островского действительно была та мысль, какую ему приписывали: нас это мало теперь занимает. Для нас гораздо интереснее то, что в Гордее Торцове является нам новый оттенок, новый вид самодурства: здесь мы видим, каким образом воспринимается самодуром образованность, т.-е. те случайные и ничтожные формы ее, которые единственно и доступны его разумению. Об этом мы и поговорим теперь.

Самодурство и образование — вещи, сами по себе противоположные, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинением одного другому: или самодур проникнется началами образованности и тогда перестанет быть самодуром, или он образование сделает слугою своей прихоти, при чем, разумеется, останется прежним невеждою. Последнее произошло с Гордеем Карпычем, как бывает почти со всеми самодурами. Он никак не предполагает, что первый шаг к образованности делается подчинением своего произвола требованиям рассудка и уважением тех же требований в других. Ему, напротив, кажется, что всякая образованность, всякая логика существует только затем, чтобы служить к совершеннейшему исполнению его прихотей. Оттого он и понимает только грубо-материальную, чисто-внешнюю сторону образования. „Что они, — говорит, — пьют-то по необ-

разованию своему! Наливки там, вишневки разные, — а не понимают того, что на это есть шампанское!" „А за столом-то какое невежество: молодец в поддевке прислуживает либо девка!" „Я,—говорит,—в здешнем городе только и вижу невежество да необразование; для того и хочу в Москву переехать и буду там *моду всякую подражать*". Находя, что в этом-то подражании и состоит образованность, он пристает к жене, чтоб та на старости лет надела чепчик вместо головки, задавала модные вечера с музыкантами, отстала от всех своих старых привычек. Но он не видит никакой надобности изменить свои отношения к домашним, дать здравому смыслу хоть какое-нибудь участие в своем семейном быте. Требовательность Гордея Карпыча стала больше, а простора для деятельности всех окружающих он не дает попрежнему. Жена жалуется, что с ним „нельзя сговорить, при его крутом-то характере", особенно после того, как *перенял* эту образованность. „То все-таки рассудок имел, — говорит про него Пелагея Егоровна, — а тут уж у него совсем помутилось"... Даже о судьбе дочери жена не смеет ничего сказать ему: „Смотрит зверем, ни словечка не скажет, — точно я и не мать... Да, право... ничего я ему сказать не смею; разве с кем поговоришь с посторонним про свое горе, поплачешь, душу отведешь, только и всего"... Отношения Гордея Карпыча ко всем домашним тоже грубы и притеснительны в высшей степени. От дочери он только и требует, чтобы из его воли не смела выходить. На просьбу ее — не выдавать ее за Коршунова — он отвечает: „Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья... Одно дело—ты будешь жить на виду, а не в такой глуши; а *другое дело — я так приказываю*". И дочь отвечает: „Я приказу твоего не смею ослушаться". Приказчика Митю Гордей Карпыч ругает бесцеремонно и совершенно напрасно. Узнавши, что он посылает матери деньги, Торцов замечает: „Себя-то бы образил прежде: матери-то не бог-знает что нужно, не в роскоши воспитана; сама, чай, хлевы затворяла..." В глазах Гордея Карпыча это большое преступление: матери деньги посылает человек, а себе сюртука нового не сошьет!.. А между тем Торцов и не думает прибавлять жалованья усердному приказчику, на что даже сам кроткий Митя жалуется: „Жалованье маленькое от Гордея Карпыча, все обида да брань, да все бедностью попрекает, точно я виноват... а жалованья не прибавляет". Вообще — грубость и необузданность беспрестанно и очень сильно проявляются в Гордее Карпыче. Входя в комнату приказчиков, которые поют песню, он кричит: „Что распелись! Горланят, точно мужичье!.." и начинает ругаться. Во втором акте, когда Пелагея Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженых, вдруг вбегает Арина, говорит: „Сам приехал" — и все присутствующие встают

в перепуге. Гордей Карпыч входит и действительно — здоровается с женой и гостями следующим приветствием: Это что за сволочь! Вон!.. Жена, принимай гостя!..". Гость этот — Африкан Саввич, и он-то уж сдерживает несколько порывы гнева Гордея Карпыча. Ясно, что даже та внешность образования, которая выражается в манерах и приличиях, не далась Гордею Карпычу. Он мог надеть новый костюм, завести новую *небель*, пристраститься к *шемпанскому*; но в своей личности, в характере, даже во внешней манере обращения с людьми — он не хотел ничего изменить. Во всех своих привычках он остался верен своей самодурной натуре, и в нем мы видим довольно любопытный образчик того, каким манером на всякого самодура действует образование. Казалось бы — человек попал на хорошую дорогу: сознал недостатки того образа жизни, какой вел доселе, исполнился негодованием против невежества, понял превосходство образованности вообще... Утешительное явление! Положим, что все это в нем еще смутно, слабо, неверно; но все-таки начало сделано, застой потревожен, деятельность получила новое направление... Быть может, он пойдет и дальше по этому пути, и нрав его смягчится, вся жизнь примет новый характер... Нет, не дожидайтесь... Во всяком другом образование возбуждает симпатические стремления, смягчает характер, развивает уважение к началам справедливости, и т. д. Но в самодуре само просвещение, сама логика, сама добродетель принимают свой дикий и безобразный вид. Отправляясь от той точки, что его произвол должен быть законом для всех и для всего, самодур рад воспользоваться тем, что просвещение приготовило для удобств человека, рад требовать от других, чтоб его воля выполнялась лучше, сообразно с успехами разных знаний, с введением новых изобретений и пр. Но только на этом он и остановится. Не ждите, чтоб он сам на себя наложил какие-нибудь ограничения, вследствие сознания новых требований образованности; не думайте даже, чтоб он мог проникнуться серьезным уважением к законам разума и к выводам науки: это вовсе несообразно с натурою самодурства. Нет, он постоянно будет смотреть свысока на людей мысли и знания, как на чернорабочих, обязанных приготовлять материал для удобств его произвола, он постоянно будет отыскивать в новых успехах образованности предлоги для предъявления новых прав своих, но никогда не дойдет до сознания обязанностей, полагаемых на него теми же успехами образованности. Иначе и не может он поступать, не переставая быть самодуром, так как первое требование образованности в том именно и состоит, чтобы отказаться от самодурства. А отказаться от самодурства для какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова — значит обратиться

в полное ничтожество. И вот он тешится над всеми окружающими: колет им глаза их невежеством и преследует за всякое обнаружение ими знания и здравого смысла. Он узнал, что образованные девушки хорошо говорят, и упрекает дочь, что та говорить не умеет; но чуть она заговорила, кричит: „Молчи, дура!“ Увидел он, что образованные приказчики хорошо одеваются, и сердится на Митю, что у того сюртук плох; но жалованьишко продолжает давать ему самое ничтожное... Таков он и во всей своей жизни — он умеет извлечь из претензий на образованность только увеличение требований и прав своих, но никак не расширение своих обязанностей... Такова уж сущность этого милого свойства, которое так метко названо у Островского самодурством!. В раскрытии этого-то отношения самодурства к образованности заключается для нас главный интерес лица Гордея Карпыча. Мы вовсе не понимаем, каким образом некоторые критики могли вывести, что в этом лице и вообще в комедии „Бедность не порок“ Островский хотел показать вредное действие новых понятий на старый русский быт... Из всей комедии ясно, что Гордей Карпыч стал таким грубым, страшным и нелепым — не с тех пор только, как съездил в Москву и перенял новую моду. Он и прежде был в сущности такой же самодур; теперь только прибавилось у него несколько новых требований.

Под влиянием такого человека и таких отношений развиваются кроткие натуры Любови Гордеевны и Мити, представляющие собою образец того, до чего может доходить обезличение, и до какой совершенной неспособности к самобытной деятельности доводит угнетение даже самую симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способен к жертвам: он сам терпит нужду, чтоб только помогать своей матери; он сносит все грубости Гордея Карпыча и не хочет отходить от него из любви к его дечери; он, несмотря на гнев хозяина, пригревает в своей комнате Любима Торцова и дает ему даже денег на похмелье. Словом, у Мити так много самоотвержения, что, кажется, ему всякие жертвы, всякие опасности должны быть нипочем .. Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордеевна. А уж как она любит Митю — этого и сказать нельзя: кажется, душу бы за него отдала с радостью .. Будь это люди нормальные, с свободной волей и хоть с некоторой энергией — ничто не могло бы разлучить их, или, по крайней мере, разлука эта не обошлась бы без тяжелой и страшной борьбы. Но посмотрите, как разыгрывается вся история в семействе Торцова. При самом объяснении в любви, собираясь просить благословения у отца, Любовь Гордеевна говорит Мите: „А ну, как тятенька не захочет нашего счастья, — что тогда?“ Митя отвечает: „Что загадывать вперед? Там — как бог даст. Не знаю, как тебе,

а мне без тебя жизнь не в жизнь". Любочка ничего не находит ответить на эти слова. Как ясно рисуется здесь бессилие и забитость молодых людей! Они боятся даже подумать о каком-нибудь самостоятельном шаге, стараются прогнать от себя даже мысль о предстоящих препятствиях. Она с ужасом говорит: „Что будет, если тятенька не согласится?" — а он, вместо ответа: „Как бог даст!.." Ясно, что они не в состоянии исполнить своих намерений, если встретят хоть малейшее препятствие. И действительно, в этот самый вечер является Гордей Карпыч с Коршуновым, приказывает дочери ласкать и целовать его и объявляет, что это ее жених. Пелагея Егоровна приходит в ужас и в каком-то бессознательном порыве кричит, схватывая дочь за руки: „Моя дочь, не отдам! батюшка, Гордей Карпыч, не шути над материнским сердцем! перестань... истомил всю душу". Но Гордей Карпыч грозно вопиет: „Жена! ты меня знаешь: у меня сказано — сделано", — и жена умолкает. Начинает теперь дочь свою оппозицию. Начинает она тем, что падает отцу в ноги и говорит: „Тятенька! я приказа твоего не смею ослушаться... Тятенька, не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, тятенька! Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня против сердца замуж итти за немилого". Кончается же оппозиция тем, что на суровый отказ отца невеста отвечает: „Воля твоя, батюшка", кланяется и отходит к матери, а Коршунов велит девушкам петь свадебную песню... Борьба оказалась не очень упорною и продолжительною; но даже и такое проявление личных своих желаний очень много значит в Любови Гордеевне. Только крайность огорчения, только тяжелая душевная мука могла заставить ее раскрыть рот для произнесения слов, несогласных с волей родителя. Но и тут — какие слова: „передумай!" „не захоти!" Какое жалкое положение: не иметь даже ни малейшего помышления о возможности сделать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое решение, на чужую милость, в то время как нам грозит кровная беда!.. Каково должно быть извращение человеческой природы в этом ужасном семействе, когда даже чувство самосохранения принимает здесь столь рабскую форму!..

Третий акт комедии открывается тем, что воля Гордея Карпыча совершилась: гости пируют на помолвке его дочери с Африканом Саввичем. Старая служанка, Арина, ругает жениха и тоскует об участи невесты; Пелагея Егоровна жалуется на свое горе, что дочка у ней погибает; Митя приходит прощаться: он решился уехать к матери от своей напасти. Слезы и жалобы Пелагеи Егоровны выводят его, однако, из себя, и он начинает ей колоть глаза ее трусостью и бессилием. „Не на кого, — говорит, — вам плакаться: сами отдаете. Чем плакать-то, не отдавали бы лучше. За что

девичий век заедаете, в кабалу отдаете? Нешто это не грех?“ и пр. У Пелагеи Егоровны один ответ: „Знаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше пожалел меня“. Тут Митя приходит в умиление и рассказывает ей про свою любовь, а она замечает: „Ах ты, сердечный! Экой ты горький паренек-то, как я на тебя посмотрю!..“ Она сожалеет об его горе, как о таком, которого никакими человеческими средствами отвратить уж невозможно, — как будто бы она услыхала, например, о том, что Митя себе руки обрубил или — что мать его умерла... Но вот и сама Любовь Гордеевна приходит; у Мити расходилось сердце до того, что он предлагает Пелагее Егоровне снарядить дочку потеплее к вечеру, а он ее увезет к своей матушке да там и повенчается. Решение это очень смело, но оно не составляет обдуманного, серьезного плана, и ему суждено погибнуть так же скоро, как оно зародилось. Сам Митя характеризует свой порыв такою фразой: „Эх, дайте душе простор, — разгуляться хочет. По-крайности, коли придется и в ответ итти, так уж зато буду знать, что потешился“. Итак, это отчаянная, безумная вспышка, к каким бывают в некоторые мгновения способны самые робкие люди. Но у Мити нет силы поддержать свое требование, и, встретив отказ от матери и от дочери, он довольно скоро и сам отказывается от своего намерения, говоря: „Ну, знать, не судьба“. А Любовь Гордеевна — та уж вовсе убита, так что не может допустить даже и мысли о согласии на предложение Мити... И не мудрено: она ведь гораздо ближе к Гордею Карпычу, гораздо более подвергалась влиянию его самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно решается на всякие муки, только чтоб не выступить из отцовского приказа. „Нет, Митя, не бывать этому, — говорит она: — не томи себя понапрасну, не надрывай мою душу... И так мое сердце все изныло во мне... Поезжай с богом“. И Митя отходит, зная, что „Любови Гордеевне за Коршуновым не иначе, как погибать надобно“; и она это знает, и мать знает — и все тоскливо и тупо покоряются своей судьбе... До такой степени гнет самодурства исказил в них человеческий образ, заглушил всякое самобытное чувство, отнял всякую способность к защите самых священных прав своих, прав на неприкосновенность чувства, на независимость сердечных влечений, на наслаждение взаимной любовью!..

И ведь если бы еще в самом деле сила неодолимая, натура высшего разряда тяготела над этими несчастными! А то вовсе нет!.. Гордей Карпыч не только крайне ограничен в своих понятиях, но еще и труслив и слабодушен. Это опять-таки — неотъемлемое, неизбежное свойство самодурства. Самодур дурит, ломается, артачится, пока не встречает себе противодействия или пока противодействие робко и нерешительно... Но у него нет такой точки опоры, которая

могла бы поддержать его в серьезной и продолжительной борьбе. Он требует и приказывает, но сам хорошенько не понимает — ни настоящего смысла своих приказаний, ни того, на чем они основаны... Кроме того, в нем есть всегда неопределенный, смутный страх за свои права: он чувствует, что многих своих претензий не может оправдать никаким правом, никаким общим законом... Боясь, чтобы другие этого не приметили, он употребляет обыкновенную меру — запугиванье. Известно, как скрывается под этой мерою всякая ничтожность, фальшь, нечистота, словом — несостоятельность всякого рода. Учитель, не довольно сведущий, старается быть строже с учениками, чтобы те его не расспрашивали ни о чем. Начальник, не понимающий дела или нечистый на руку, старается напустить на себя важность, чтобы подчиненные не дерзали слишком смело судить о нем. Барин, не имеющий никакого действительного достоинства, старается взять суровостью и грубостью пред лакеем... Благодаря общей апатии и добродушию людей, такое поведение почти всегда удается: иной и хотел бы спросить отчета — как и почему? — у начальника или учителя, да видит, что к тому приступу нет, так и махнет рукой... „Э, — скажет, — ну, его! Еще обругает ни за что, ни про что!“ И вследствие такого рассуждения, наглая, самодурная глупость и бесчестность продолжают безмятежно пользоваться всеми выгодами своей наглости и всеми знаками видимого почета от окружающих. Всеобщая потачка возвышает гордость самодура и даже действительно придает ему силы. Она вознаграждает для него отсутствие сознания о своем внутреннем достоинстве. Так, господин, вывозящий мусор из города, мог бы, несмотря на совершенную бесценность этого предмета, заломить за него непомерные деньги, если бы увидел, что все окрестные жители по непонятной иллюзии придают ему какую-то особенную цену... Но только на подобной иллюзии и держится значение самодура. Только покажись где-нибудь сильный и решительный отпор, — сила самодура падает, он начинает трусить и теряться. На первый раз еще у него станет храбрости и упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привыкши встречать безмолвное повиновение, он с первого раза и поверить не хочет, чтобы могло явиться серьезное противодействие его воле. Вследствие того, считая сначала за следствие недоразумения всякий голос, имеющий хоть тень намерения ограничить его самовольство, он разражается взрывом бешенства, пытается запугать еще больше, чем прежде пугал, и этим средством по большей части успевает смирить или заглушить всякое недовольство. Но чуть только он увидит, что его сознательно не боятся, что с ним идут на спор решительный, что вопрос ставится прямо: „погибну, но не уступлю“, — он немедленно отступает,

смягчается, умолкает и переносит свой гнев на другие предметы или на других людей, которые виноваты только тем, что они послабее... Всякий, кто учился, служил, занимался частными комиссиями, вообще имел дела с людьми, — натыкался, вероятно, не раз в жизни на подобного самодура и может засвидетельствовать практическую справедливость наших слов. Бойтесь сказать *мимоходом* слово, вопреки сердитому и бестолковому начальнику: вас ждет поток бранных слов и угрожающих жестов, крайне оскорбительных. Мало того, — вас и впоследствии будет преследовать неблагоприятное мнение начальника: вы — либерал, вы непочтительны к начальству, голова ваша набита фанаберией... Но если вы хотите служить и вести дела честно, не бойтесь вступать в серьезный, решительный спор с самодурами. Из ста случаев в девяноста девяти вы возьмете верх. Только решитесь заранее что вы на полуслове не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы от того угрожала вам действительная опасность — потерять место или лишиться каких-нибудь милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашем мнении будет предупреждена возвышением голоса самодура; но вы все-таки возражайте. Возражение ваше, встречено будет бранью или выговором, более или менее неприличными, смотря по важности и по привычкам лица, к которому вы обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте ваш голос наравне с голосом самодура, усиливайте ваши выражения соразмерно с его речью, принимайте более и более решительный тон, смотря по степени его раздражения. Если разговор прекратился, возобновляйте его на другой и на третий день, не возвращаясь назад, а начиная с того, на чем остановились вчера,— и будьте уверены, что ваше дело будет выиграно. Самодур возненавидит вас, но еще более испугается. Он рад будет прогнать и погубить вас; но, зная, что с вами много хлопот, сам постарается избежать новых столкновений и сделается даже очень уступчив: во-первых, у него нет внутренних сил для ровной борьбы начистоту; во-вторых, он вообще не привык к какой бы то ни было последовательной и продолжительной работе, а бороться с человеком, который смело и неотступно пристает к вам, — это тоже работа немалая...

Итак, Гордей Карпыч, в качестве самодура, очень слабодушен и вовсе не имеет выдержки в своем характере. Все качества действительно сильной натуры заменяются у него необузданным произволом да тупоумным упрямством. Вот чем объясняется и оправдывается видимая неожиданность развязки, которую дал Островский комедии „Бедность не порок“. При появлении этой комедии все критики восстали на автора за произвольность развязки. Внезапная перемена Гордея Карпыча, его ссора с Африканом Саввичем и внимание к требованиям Любима Торцова показались всем неесте-

ственными. Да тут же еще, кстати, хотели видеть со стороны автора навязыванье какого-то великодушия Торцову и как будто искусственное облагораживанье его личности. Теперь, кажется, не нужно доказывать, что таких намерений не было у Островского: характер его литературной деятельности определился, и в одном из последующих своих произведений он сам произнес то слово, которое, по нашему мнению, всего лучше может служить к характеристике направления его сатиры. Преследование самодурства во всех его видах, осмеиванье его в последних его убежищах, даже там, где оно принимает личину благородства и великодушия,— вот, по нашему убеждению, настоящее дело, на которое постоянно устремляется талант Островского, даже совершенно независимо от его временных воззрений и теоретических убеждений. В трех комедиях его изображаются порывы великодушия у самодуров, и каждый раз они являются глупыми, ненужными или обидными. В „Не своих санях“ Русаков, разжалобившись над дочерью, тоже великодушно изменяет свое решение и соглашается выдать ее за Вихорева. Спрашивается: зачем? с какой стати? Ведь он, повидимому, вполне убежден, что замужество с Вихоревым составит гибель его дочери. За несколько минут ранее он даже доказывает это довольно резонно; за несколько минут он выказывает свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословения в случае непослушания. А тут вдруг великодушная уступка! Чем она вызвана? Отчасти добротою сердца и отцовской любовью; но всего более совершенным отсутствием прочных основ для принятого им прежде решения. Человек, знающий, что он делает, и любящий свое дело, не отстанет от него по минутному капризу. Тот же Русаков не решится сбрить себе бороду или надеть фрак, как бы его дочь ни убивалась из-за этого. А относительно судьбы дочери у него нет в голове даже таких прочно сложившихся и вполне определенных убеждений, как насчет бороды и фрака. Оттого-то и возможно для него в решении о ней такое легкомыслие, которое в глазах некоторых представляется даже умилительным великодушием, так же, как и уплата долга за Вихорева!..

Тою же неразумностью отличается великодушие Торцова. Он души не чает в своем будущем зяте Африкане Саввиче. „Можешь ли ты меня теперь понимать?“ — спрашивает он и ничего, кажется, не желает более, как только того, чтобы зятюшка его понял. Чтобы угодить ему и скрепить свою дружбу с ним, Торцов жертвует дочерью, презирает ее мольбы и слезы матери, даже сам видимо унижается и позволяет ему обходиться с собой несколько свысока. Но вот Любим Торцов начинает обижать нареченного зятя, зять обижен и дает это заметить Гордею Карпычу довольно грубо,

заключая свою речь словами: „Нет, теперь *ты* приди ко мне да покланяйся, чтоб я дочь-то твою взял". Этих слов довольно, чтобы взбесить Гордея Карпыча. Он вспыльчиво спрашивает: „Я к тебе пойду кланяться?" А Коршунов подливает масла в огонь, говоря: „Пойдешь, я тебя знаю. Тебе нужно свадьбу сделать, хоть в петлю лезть, да только б весь город удивить, а женихов-то нет... Вот несчастье-то твое". Этими словами Коршунов совершенно портит свое дело: он употребил именно ту форму, которой самодурство никак не может переносить и которая сама опять-таки есть не что иное, как нелепое порождение самодурства. Один самодур говорит: „Ты не смеешь этого сделать"; а другой отвечает: „Нет, смею". Тут спор идет уже о том, кто кого передурит. И если один из спорящих чего-нибудь добивается от другого, то, разумеется, победителем останется тот, от которого добиваются: ему ведь тут и труда никакого не нужно—стоит только не дать, и дело с концом. Так происходит и здесь. Выслушав „не смеешь" Коршунова, Гордей Карпыч говорит: „Опосля этого, когда ты такие слова говоришь, *я сам* тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, *за кого вздумается*, за того и отдам. С деньгами, что я за ней дам, всякий — человек будет... Вот за Митьку отдам!"... И в порыве гнева он несколько раз повторяет: „Да, за Митьку отдам! На зло ему, за Митрия отдам!.." Коршунов уходит в ярости, а домашние все удивлены, принимая слова Гордея Карпыча за серьезное решение: до такой степени приучены они к неразумности всех его поступков. Митя, с наивностью загнанного юноши, очень доверчивого и очень плохо понимающего истинный смысл всего, что вокруг него происходит, даже обращается к Торцову с следующей речью: „Зачем же на зло, Гордей Карпыч? Со злом такого дела не делают. Мне на зло не надобно-с. Лучше уж я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, так уж вы благословите нас, как следует, — по-родительски, с любовию..." Но эти наивные слова возбуждают, разумеется, гневное изумление в Торцове, который и не думал говорить серьезно об отдаче дочери за Митю. „Что, что, — вскрикивает он. — Ты уж и рад случаю! Да *как ты смел* подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебе? *С кем ты говоришь*, вспомни!.." Митя становится перед ним на колени, но это смирение не обезоруживает Гордея Карпыча: он продолжает ругаться. Просьбы дочери и жены тоже остаются бессильны. Но тут-то является им на помощь Любим Торцов — озорник, с которым Гордей Карпыч уж достаточно повозился и никакого ладу не нашел... Любим говорит ему то же, что и Коршунов: „Да ты поклонись в ноги Любиму Торцову, что он тебя оконфузил-то", и Пелагея Егоровна прибавляет: „Именно, Любимушка, надо

тебе в ноги поклониться“... Можно бы ожидать, что Гордей Карпыч, на зло домашним, опять упрется и выдумает еще что-нибудь *на зло*. Но он только спрашивает в недоумении: „Что ж я, изверг, что ли, какой в своем семействе?“ Из этого вы уже замечаете, что его начинает пробирать великодушие. Раз он уже поставил на своем, прогнав Коршунова, и, следовательно, самолюбие его удовлетворено покамест. К тому же — он уж и утомлен напряжением, которое сделал, и не в состоянии теперь снова собрать ту же энергию для другой борьбы. А тут, вместе с кроткими мольбами жены, допекают его рассуждения и назойливые просьбы брата Любима, который говорит с ним смело и решительно, без всяких умолчаний, подкрепляя просьбы свои доказательствами, взятыми из собственного опыта. Гордей Карпыч как будто затуманивается; он смотрит вокруг себя и не знает, как ему все это понимать и что делать; он ищет внутри себя, на чем бы опереться в борьбе, и ничего не находит, кроме своей самодурной воли. Она-то и высказывается в последнем его возражении: „Ты мне что ни говори, а я тебя слушать не хочу...“ Но Любим не придает особенной важности такому возражению и продолжает свои настояния. Гордей Карпыч окончательно сбит с толку и обессилел; сознание всего окружающего решительно мутится в его голове; он никак не может отыскать своих мыслей, которые никогда и не были крепко связаны между собой, а теперь уж совсем разлетелись в разные стороны... В эту критическую минуту он позволяет себе раскваситься, его прошибает слеза, и он, благодаря брата Любима за назидание, благословляет будущее счастие детей своих... Пользуясь его расположением, и племянник его, Гуслин, которому Торцов запрещал жениться, просит разрешения и получает его... Гордей Карпыч говорит: „Теперь просите все, кому что нужно; теперь я стал другой человек!..“

Какой широкий размах великодушия, подумаешь!.. Так и чуешь какого-то восточного султана, который говорит: „Все в моей власти!.. Стоит мне мигнуть, и с тебя голову снимут; стоит сказать слово, и неслыханно-роскошные дворцы вырастут для тебя из земли. Проси, чего хочешь! полмира могу я взять и подарить, кому хочу...“ Разница только в размерах, а сущность дела та же самая в словах Торцова. Дай ему какой-нибудь калифат, он бы и там стал распоряжаться так же точно, как теперь в своем семействе. Дурил бы, презирая все человеческие права и не признавая других законов, кроме своего произвола, а подчас удивлял бы своим великодушием, основанным опять-таки на той мысли, что „вот, дескать, смотрите: у вас прав никаких нет, а на всем моя полная воля: могу казнить, могу и миловать!..“ Счастливы мы, читатель, что живем в настоящее время, когда

у нас порывы подобного великодушия невозможны!.. Ими можно пользоваться в известные минуты, как воспользовались Митя и Любовь Гордеевна: их дело выиграно, хотя Гордей Карпыч, разумеется, и ненадолго останется великодушным и будет после каяться и попрекать их своим решением... Но подобные выигрыши ненадежны. Когда вы расчитываете, как устроить свою жизнь, то, конечно, не будете основывать своих расчетов на том, что, может быть, выиграете большое состояние в лотерею. Так точно в разумной, сознательной жизни невозможно расчитывать и на выигрыш великодушия самодура... Пусть лучше не будет этих благородных широких барских замашек, которыми восторгались старые, до идиотства захолопевшие лакеи; но пусть будет свято и неприкосновенно то, что мне принадлежит по праву; пусть у меня будет возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и волю, а не тогда, когда выйдет милостивое разрешение от какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова...

Н. А. Добролюбов.

---

1. Какие черты „самодура“ видит Добролюбов в типе Гордея Карпыча? Собрав все эти черты, дайте характеристику самодура.
2. Откуда у самодура такие права над другими людьми? Вскройте социально-экономические корни самодурства.
3. Можно ли признать самодуров людьми действительно сильными, обладающими твердой волей? Что им придает видимость силы?
4. Как и чем можно бороться с самодурством?
5. Какие возможные выходы видит Добролюбов из столкновения „самодурства“ и „образования“?
6. Как Добролюбов вскрывает смысл неожиданной развязки комедии?
7. Проконспектируйте статью Добролюбова, руководствуясь поставленными к ней вопросами.

---

22. Китай-город.

В „городе“, на площади, против биржи, шла будничная дообеденная жизнь. Выдался теплый сентябрьский день с легким ветерком. Солнца было много. Оно падало столбом на середину площади, между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо оно светило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изредка проезжала карета, выкидывал

ногами серый жирный жеребец в широкой купеческой эгоистке московского фасона. На перекрестках выходили беспрестанные остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжал и махал рукой. Растерявшаяся покупательница, не добежав до другого тротуара, роняла картуз с чем-то съестным и громко ахала. По острой разъезженной мостовой грохот и шум немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла магазинов. Тучки пыли летели отовсюду. Возы и обозы наполняли воздух всякими испарениями и запахами, — то отдаст москательным товаром, то спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то дольется струя, вся переполненная постным маслом, или луком, или соленой рыбой. Снизу, из-за биржи, с задов старого гостиного двора поползет целая полоса воздуха, пресыщенного пресным отвкусом бумажного товара, прессованных штук бумазеи, миткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых рогожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся, бурые, безобразно пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лязг и треск железных брусьев и шип. Тянутся возы с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут зловонием телеги с кожами. И все это облито солнцем и укутано пылью. Кому-то нужен этот товар? „Город“ хоронит его и распределяет по всей стране. Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, где все жаждет наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать и не купить.

На возах и в обозах, рядом и позади телег, ломовой, в измятой шляпенке или засаленном картузе, с мощной спиной, в красной жилетке и пудовых сапогах, шагает с перевалом невозмутимо — стойко, с трудовой ленью, покрикивая, ругаясь, похлестывает кнутом своего чалого, широкогрудого и всегда опоенного мерина, под раскрашенной дугой. Вот луч солнца, точно отделившись от огненного своего снопа, пронизывает облако пыли и падает на воз с чем-то темным и рыхлым, прикрытым рогожей, насквозь промоченной и обтрепанной по краям. На возу покачивается парень без шапки, с желтыми плоскими волосами, красный, в веснушках, в пестрядинной рубахе с расстегнутым воротом, открывающим белую грудь и медный тельник. Глаза его жмурятся от солнца и удовольствия. Он широко растянул рот и засовывает в него кусок папушника, держа его обеими руками. На папушник намазана желтая икра, перемешанная с кусочками крошеного лука, промозгло соленая, тронутая теплом.

Но глаза парня совсем закатились от наслаждения. Он облизывается и вкусно чмокает, а тем временем незаметно

сползает все по скользкой и смрадной рогожке. С воза обдает его гнилью и газами разложения. Зубы щелкают, щеки раздулись; он обедает сладко и вдосталь.

А за ним, снизу от Ножевой линии, сбоку из Черкасского переулка, сверху от Ильинских ворот ползет товар, и над этой колышущейся полосой из лошадей, экипажей, возов, людских голов стоит стон: рубль купца, спина мужика поют свою нескончаемую песню...

У биржи полегоньку собираются мелкие „зайцы“ — восточники, шустрые маклаки из ярославцев, греки... Два жандарма, поставленные тут затем, чтобы не было толкотни и недозволенного торга и чтобы именитые купцы могли беспрепятственно подъезжать, похаживают и, нет-нет, да и ткнут в воздух рукой. Но дела идут своим порядком. И на тротуаре, и около легковых извозчиков, на площади и ниже, к старым рядам, стоят кучки; юркие чуйки и пальто перебегают от одной группы к другой.

Кругом мальчишки выкрикивали уличный товар. Кучки красного арбуза вырезывались издали. А там вон, на лотках золотистые кисти винограда, вперемежку с темнокрасным, наливным, крымским, величиной в добрую сливу, и с подрумяненной антоновкой. Разносчики газет забегали с тротуара на средину площади и совали прохожим под нос номера листков с яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазин, с нарядным подъездом и щеголеватой вывеской, придавал нижнему этажу монументального дома богатых монахов европейский вид. На углу купол башни, в новом заграничном стиле, прихорашивал всю эту кучу тяжелых приземистых каменных ящиков, уходил в небо, напоминая каждому, что старые времена прошли, пора пускать и приманку для глаз, давать архитекторам хорошие деньги, чтобы весело было господам купцам платить за трактиры и лавки.

А там, дальше, виднелся кусок теплых „рядов“. Лестница с аркой, переходы, мостики, широкие окна манили покупателя прохладой летом, убежищем от дождя и теплом в трескучие морозы. Узкий переулок уходил вдаль, к Никольской, точно коридор с низким, в один этаж, корпусом, по левую руку. Церковь с старинными очертаниями глав и ребер крыши выглядывала сбоку из-за домов. Вся небольшая площадь улыбалась, точно ядреная купчиха, надевшая все свои кольца и серьги; только на волосах у ней „головка“, а остальное все по моде, куплено у немца и дорогой ценой. Свет особенно ласково играл в зеркальных стеклах дома, где нет кое-каких лавок, а каждое помещение оплачивается многими тысячами. Он смотрит на своего соседа и радуется. Такого соседства не стыдно. Но там все-таки трактир, служат молодцы в рубашках; а в нем все на благородный аршин

и покрой. Швейцары в ливреях, массивные двери, чугунные лестницы, глянцовитые конторки, за конторками тихий, благообразный и выученный народ, хоть в любой всемирно известный дом, хоть к самому Ротшильду. Правда, деньги на руках у артельщиков; но артельщики сидят за решетками, их не видно, да и они, по благообразию, подходят к дубовым рамам с блестящими стеклами.

Только в одном углу площади запоздалые мостовщики разворотили целых полдесятины, стесняют езду и шутливо перекликаются с ломовыми и кучерами. Они отделили себя бечевкой и полдничают, сидя на куче голышей вокруг деревянной чашки, куда они в квас накрошили огурцов, луку, вяленой рыбы, и хлебают не спеша, вытянувши ноги, окутанные в тряпки поверх лаптей. Солнышко щекочет им загривки. Дождя, знать, не будет до ночи...

П. Д. Боборыкин.

1. Определите характерные черты в картине „города".
2. Найдите в тексте то место, которое указывает (формулирует) экономическую основу этой картины.
3. Как понять выражение: „рубль купца, спина мужика поют свою нескончаемую песню."

---

23. Городок Окуров.

Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее — как затейливая игрушка на широкой, сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье — там ютится низкое мещанство.

Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте; ощетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами, деревья большой дороги в губернию.

Кроме города, на равнине, у опушки Черной Рамени приткнулось небольшое село Воеводино, да две деревни: к северу—Обносково, а к востоку—Балымеры, Бубновка тож; вот и все вокруг Окурова.

Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой; небо там бледное и мутное, точно

запотело, солнце—тускло, вечерние зори—зловеще багряны, а луна—на восходе—велика и красна, как сырое мясо.

Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем, бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сердитой;— городок замирает, люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега, играют в козла, дурачки, в свои козыри, слушают чтение пролога, минеи, а кое-где и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжкими хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки; звезды крупны, синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень изумруд.

Город имеет форму намогильного креста: в комле— женский монастырь и кладбище, вершину — Заречье — отрезала Путаница, на левом крыле—серая от старости тюрьма, а на правом — ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила на крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семи сот. Кроме монастыря, есть еще две церкви: новый чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковь Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синий и желтый цвет.

Мещане в городе юрки, но — сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки—это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязаньем, посылает его к Макарью на ярмарку и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов.

Главная улица — Поречная, или Бережок, — вымощена крупным булыжником; весною, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые, молча ползают по улице, вырывая траву с корнем.

На Поречной стройно вытянулись лучшие дома, голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками, белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыльце; красно-кирпичный с желтыми ставнями — головы; розоватый — отца протоиерея Исаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых, уютных домиков — в них кварти-

ровали власти: войсковой начальник Покивайко, страстный любитель пения, прозван Мазепой за большие усы и толщину; податной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем; земский начальник Штрехель, театрал и драматург; исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист местного кружка любителей комедии и драмы.

Только почтмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой — эта улица, одним концом разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря.

В городе много садов и палисадников, клен, рябина, сирень и акации скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках.

Жили на Шихане благодушно и не очень голодно, предуказаниям начальства повиновались мирно, старину помнили крепко, но, когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени: так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию.

— Всех девок, видно, замуж не выдашь — стало быть, пусть идут на службу в учительницы!

Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь: деревня год от году все беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит все хуже, в губернии учить детей дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, в горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину.

Заезжие фокусники и разные странствующие „артисты“ собирали в „Лиссабоне“ полный зал; спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа — зимою в „Лиссабоне“, а летом на городском бульваре.

Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его тополем, акациями, липой; в центре бульвара голова и Покивайко выстроили за свой счет красную беседку, с мачтой на крыше; по праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву, под ним летом стояли купальни: полосатая — голубая с белым — Фогеля, красная — головы и серая, из выгоревших на солнце тесин — „публичная“. От купален на реку ложатся разноцветные пятна, и река тихо полощет их кисею.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья: черные от старости, с клочьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими больными глазами; кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма.

Среди измятой временем, расшатанной половодьем толпы мещанских домишек торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского: ее построил предок вымерших помещиков Бубновых на том месте, где его, когда он, по гневному повелению Павла I ехал в ссылку в Тобольск, догнал курьер с приказом нового царя немедля возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметало сором и песком, кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный, когда-то золоченый, крест согнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было...

Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы — тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотах из ворот, снятых с петель, ловили дрова, унесенные из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перила моста, соединявшего слободу с городом.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлею птиц, делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву — все это скупало у них городское мещанство. Человека три, в их числе Сима Девушкин, делали птичьи клетки и садки; семейство Пушкаревых занималось плетением неводов, Стрельцовы работали из корневища березы шкатулки и укладки, с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и больше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан.

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан „грошелюбами“, „пятакоедами“.

С Михайлова дня зачинались жестокие бои на льду реки, бои шли всю зиму, вплоть до масляной недели, и, хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью: заречные всегда бывали биты и гонимы через всю слободу вплоть до песчаных бугров „Кобыльных ям“, где зарывали дохлый скот.

Чаще всего из города в Заречье являлась полиция: с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинностей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк...

Бородатые лесные мужики из Обносковой, Балымера и других сел уезда, народ смирный и простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее — ездили по-трое, по-четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, встречу ему не торопясь выходили любопытные слобожане, тесно окружая мужика, спрашивали:

— Что, дядя, продаешь?

И, осматривая товар, крали, а если мужик кричал, жаловался — колотили его, слегка.

Летними вечерами заречные собирались под ветлы, на берегу Путаницы, против городского бульвара, и, лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх: на красном небе четко вырезаны синеватые главы церквей, серая, точно из свинца литая, каланча, с темной фигурой пожарного на ней, розовая, в лучах заката, башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы, но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана: кто и сколько проиграл и кто выиграл в карты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан.

Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину: полоть огороды, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам.

Обо всем, что касалось города, Заречье говорило сатирически и враждебно; про свою жизнь рассуждало мало, лениво; больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Окурова.

Любили пение. Летом, каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов Вавилы Бурмистрова и Артюшки Пистолета, охотника.

Слободской поэт Сима Девушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами:

— Позади у нас — леса,
Впереди — болото.
Господи! Помилуй нас!
Жить нам — не охота...
Скушно, тесно, голодно —
Никакой отрады!
Многие живут лет сто —
А — зачем их надо?
Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так — живи скорей
Да и — на кладбище!

М. Горький.

1. Составить п л а н данного Горьким описания городка.
2. Быт и нравы Заречья и Шихан (чем объясняется и как выражается вражда между городом и слободой?)
3. Чем интересно стихотворение слободского поэта.

---

24. С высоты...

Вглядимся. Шума нет. Он не дошел до слуха.
Вся груда города видна нам с высоты.
А эта точка там, ничтожная, как муха,
Ползущая внизу, — твой ближний, ты, сам ты.

Разумно в центр бегут прямые магистрали,
Лежат зеленые, большие острова.
За ними море, ширь, синеют дали, дали,
И город пополам змеею рвет Нева.

Большие улицы лежат внизу, как щели;
Коробки с окнами — вокруг, назад, вперед;
Колодцы двориков, квадраты, параллели...
Да, люди строили не хуже пчел свой сот!

Мне нравится найти знакомое строенье,
Иль изучить квартал, понять его всего...
Страх, любопытство, смех и страшное презренье
Охватывают нас, когда мы высоко.

Здесь центр. Обмен вещей и соты самых знатных,
Там рынки жирные и грязных улиц сеть.
Там лес фабричных труб, дымящих, черных, статных,
Глотающих дрова, железо, уголь, медь.

У города есть рот. У города есть ноги.
Как войско с копьями видны суда в порту.
От города бегут железные дороги,
Полоски белые уходят в широту...
И всюду, всюду труд[1]...

Лозина-Лозинский.

Не случалось ли вам наблюдать свой город с высоты? — Дайте описание вашего города в более распространенной форме (ср. для образца М. Ю. Лермонтова „Панорама Москвы“).

---

[1] Из книги Анциферовых „Жизнь города“. Л. 1926.

25. Наш город.

1. Местоположение (на реке, у озера, моря и т. п.; высокое или низкое; окрестности).

2. Общий вид города (с какого-нибудь определенного пункта или в форме прогулки).

3. Главные части города, их характер (отличительные особенности: улицы, мостовые, тротуары, освещение; здания, их назначение; население, его занятия).

4. Жизнь города (центр и окраины; движение — трамваи, автомобили, экипажи, пешеходы; темп движения в разных частях города и в разное время дня; праздники). Зарисовка отдельных сценок и типичных фигур.

5. Город в разное время года (городской ландшафт).

6. Культурно-производственное значение нашего города (возникновение и развитие той или другой отрасли промышленности, причины этого).

7. Связь города с окрестными селами и деревнями (продуктообмен; рынки, базары; картинки быта — на базаре и т. п.; дом крестьянина).

8. Достопримечательности города.

9. Исторические воспоминания (что известно о времени и причинах возникновения города; замечательные в историческом отношении места, здания; выдающиеся деятели города; нет ли сказаний (легенд), связанных с каким-либо местом, зданием; о тех или других лицах?).

10. Местный музей.

11. Соберите названия улиц, площадей и других мест города. О чем говорят эти названия (старые и новые революционные)?

12. Как отразилась революция на внешнем облике города и характере его жизни?

Разбившись на звенья, дайте разработку этой темы в виде ряда докладов (устных и письменных).

---

26. Гавань.

Потемневшее от поднятой в гавани пыли голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую, серую вуаль.

Оно не может отразиться в воде, то и дело рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, острыми килями[1] турецких фелюг[2] и других парусных судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, в которой закованные в гранит сво-

---

[1] Киль — подводная часть лодки, корабля.

[2] Фелюга — так называются на Черном море небольшие парусные суда.

бодные волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные ударами, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат, — все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем. А к ним вздымаются с земли все новые и новые волны — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено-страстного гимна Меркурию[1]. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, и так они ничтожны, малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном ими звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, носивших на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди — и могучие, блестевшие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми, машины, которые, в конце-концов, приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, назревшим, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко,

---

[1] Меркурий — бог торговли у древних римлян.

на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

М. Горький.

Из рассказа „Челкаш". 1895.

---

1. Соберите все черты, изображающие рабочих.
2. Какое впечатление они вызывают у автора?
3. Выделите моменты контраста в описании трудового дня (приведите указания).
4. В чем автор видит „жестокую и холодную иронию"?
5. Какою стала природа и какой она должна бы быть по взглядам автора?
6. Отметьте, какими красками зарисованы море и небо (эпитеты, сравнения; зрительные, моторные образы).
7. Разберитесь в „симфонии трудового дня".
8. Какой катастрофы ждет автор?

---

27. Город[1].

Улица была как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.

Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ...

В. Брюсов.

28.

* * *

Давно не видел вас, поля мои родные,
Избенки ветхие, давно не видел вас.
По-прежнему бедны, в просторы заревые
Вы слепо смотрите зрачками окон-глаз.

---

[1] Из стихотв. „Конь блед.".

Поля, поля и лес, но чувства не с деревней.
Ни звука, тишина, кругом разлит покой,
Шелка пахучих трав и музы стих напевный.
Я ваш недолгий гость, я вновь томим тоской.
Что нужно мне, певцу? Фабричные сирены
Не потревожат мой под утро сладкий сон.
О, город, компас бурь, твоей борьбы арена
Зовет меня к себе, тобою я пленен!
Деревня не моя; мне близки тротуары,
Где кровь лилась труда, гремел орудий гром.
Симфонии борьбы, октябрьские пожары,
Они зовут меня, горят в душе огнем.
И ты, властитель мой, борьбой веков пронзенный,
Ты в битвах весь горишь, как в юном теле страсть.
Опять стремлюсь к тебе, стремлюсь сильней, влюбленный
В твою разгневанную пасть.

П. Ерошин.

---

29. Главная улица.

1917 $\frac{7}{XI}$ 1922

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний, на главный редут!

* * *

Главная Улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными,
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы, —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!..
— Скорей!..

— Скорей!..
— Скорей!..
— Скорей!..
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки!
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
— Скорей!..
— Скорей!..
— Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут?
Духом одним с этой сволочью дышите?
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они!.. Видите?.. Вот они, тут!..
— Идут!..
— Идут!!..

* * *

С силами, зревшими в нем, необъятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, полыхавших над ним,
Из закоулков,
Из переулков
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно взметнув свои тысячи жилистых,
Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный,
Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на улицу новый хозяин,
Вышел — и все изменилося вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — мое!!...
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани и снедь, и питье, —
Это — мое!!...
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — мое!!.....

* * *

Пусть наша Улица будет задворками
Перед проспектом иным, Мировым,
Разве не держится он лишь подпорками
И обольщеньем, уже не живым?
Мы, наступая на нашу, на Главную,
Разве потом не катилися вспять?
Но, отступая пред силой неравною,
Мы наступали. Опять и опять.
Красного фронта всемирная линия
Пусть перерывиста, пусть не ровна.
Мы ль разразимся словами уныния?
Разве не крепнет, не крепнет она?
Стойте ж на страже добытого муками,
Зорко следите за стрелкой часов.
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых, боевых голосов.
Братья, всмотритесь в огни отдаленные,
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум:
Это резервы идут закаленные!
Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний всемирный редут!!

1922. Д. Бедный.

30. Будет радость.

В златокованных солнечных всходах
Рдеют розы грядущего дня...
Будет радость в прибойных заводах,
В полутемных слепых деревнях.

Распрямится горбатое поле,
Загрохочет машин перезвон,
И кровавые станут мозоли
Ярче звезд и почетней икон.

Будет внятен пророческий голос,
Беспокойного времени гром.
И задумчивый, бронзовый колос
Породнится с железным станком.

А. Самобытник.

II

ТРУД, БЫТ, БОРЬБА

А.

1. Железная дорога.

Ваня — *в кучерском армячке.*
Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша — *в пальто на красной подкладке.* Клейнмихель, душенька!
(Разговор в вагоне.)

I.

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Все хорошо под сиянием лунным;
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

II.

Добрый папаша! к чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод — названье ему!

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей;
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри безплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то все косточки
русские...
Сколько их, Ваничка, знаешь
ли ты?

Чу! восклицанья послышались
грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла
морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. „В ночь
эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

„Мы надрывались под зноем,
под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися
с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой.

„Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божии
ратники,
Мирные дети труда!

„Братья! вы наши плоды
пожинаете!
Нам же в земле истлевать
суждено...
Все ли нас, бедных, добром
поминаете,
Или забыли давно?..“

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги,
с Оки,
С разных концов государства
великого —
Это все братья твои мужики!

Стыдно робеть, закрываться
перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом
рус,
Видишь, стоит, изможден
лихорадкою,
Высокорослый, больной белорусс:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено
стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ
старательно
Изо дня в день налегала весь
век...
Ты приглядись к нему, Ваня,
внимательно:
Трудно свой хлеб добывал
человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду
благородную
Нам бы не худо с тобой
перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну
любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни
пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору
прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...

III.

В эту минуту свисток
оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа
мертвецов!

„Видел, папаша, я сон
удивительный,“
Ваня сказал: „тысяч пять
мужиков,

„Русских племен и пород
представители
Вдруг появились, и *он* мне
сказал:
— Вот они — нашей дороги
строители!..“
Захохотал генерал!

— Был я недавно в стенах
Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ
сотворил?

— Вы извините мне смех этот
дерзкий:
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон
Бельведерский
Хуже печного горшка?

— Вот наш народ — эти термы
и бани —
Чудо искусства — он все
растаскал!
„Я говорю не для вас, а для
Вани...“
Но генерал возражать не давал:

— Ваш славянин, англосакс
и германец
Не создавать — разрушать
мастера,
Варвары! дикое скопище
пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;

— Знаете, зрелищем смерти,
печали
Детское сердце грешно
возмущать:
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...

IV.

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды
роковые
Кончены — немец уж рельсы
кладет.
Мертвые в землю зарыты;
больные
Скрыты в землянках; рабочий
народ

Тесной гурьбой у конторы
собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен
остался,
Стали в копейку прогульные дни!

Все заносили десятники
в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли
больной:
„Может, и есть тут теперича
лишку,
Да, вот, поди ты!..“ Махнули
рукой...

В синем кафтане — почтенный
лабазник,
Толстый, присадистый, красный,
как медь,
Едет подрядчик по линии
в праздник,
Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается
чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
„Ладно... ништо... молодца...
молодца!..

„С богом теперь по домам, —
проздравляю!
(Шапки долой — коли я
говорю!) —
Бочку рабочим вина выставляю
И — *недоимку дарю!*..“

Кто-то „ура“ закричал.
Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее...
Глядь:
С песней десятники бочку
катили...
Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей —
и купчину
С криком „ура!“ по дороге
помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

Н. Некрасов.

1865.

Условия труда при постройке С.-Петербургско-Московской железной дороги (Николаевской, ныне Октябрьской) были настолько тяжелы, что рабочие, в значительной части из крепостных, не раз выказывали свое недовольство, которое в свою очередь рассматривалось как бунт и вызывало жестокую расправу.

Чиновник Мясоедов, производивший расследование непорядков при постройке дороги, указывая на крайнюю терпеливость крестьянина-рабочего, писал: „Надобно сделать ему чересчур много жестокого, чтобы он подумал ослушаться хотя временной власти, над ним поставленной...“ И это чересчур жестокое совершалось на каждом шагу и подрядчиками и властью: непомерно большие уроки, обмеры выплаченных уроков, плохое качество пищи, недостаток в одежде, штрафы за все про все, принудительная круговая порука, спекуляция подрядчиков и сельских властей, которые из-за „темных денег“ (взяток) принуждали крестьян подписывать тягостные условия, или помещиков, выговаривавших себе право на получение всего денежного заработка своих крестьян, которым оставлялось по 50 к. на все расходы за весь период работ в течение 6 месяцев, наконец, неплатеж заработанных денег... Не в силах терпеть, рабочие волновались и бежали с работ. Так, напр., 5 июля 1850 г. рабочие Витебской губ., Полоцкого у., в числе 80 человек по невыплате им заработной платы сбежали с работ и, несмотря на угрозы погнавшегося за ними жандармского поручика Анисимова, отказались вернуться. „Все рабочие, вооруженные дубинками, крикнув „ура“, двинулись вперед, увидев же, что Анисимов их преследует, свернули в болото.“ Когда Анисимову удалось остановить старосту артели для переговоров, то рабочие, „увидев своего старосту, стоявшего у тарантаса, закричали ему: ты нам изменил, и, бросясь к нему, сбили с ног и начали жестоко его бить“. Не поздоровилось и Анисимову, которому едва удалось спастись... В другом официальном рапорте говорилось о побеге крестьян Жиздринского уезда, в третьем испрашивалось разрешение командировать подкрепление из 50 жандармов для водворения порядков. Порядок водворялся розгами: „Рабочий Давыдов был наказан 10 ударами розог за выражение недовольства пищей. Один жандарм дал по 80 ударов 80 человекам из партии в 728 рабочих, т.-е. применил обычную расправу с десятым из толпы.“

Исследователь Д. Карган („Архив истории труда в России", кн. V) отмечает правдивость Некрасова, писавшего еще под свежим впечатлением очевидцев.

---

1. В каком отношении образ „славной осени" находится к содержанию стихотворения?
2. Что является причиной „безобразия" в людской жизни?
3. Разверните в подробностях сжатые формулы поэта в 3 и 4 строфах второй главы (воспользуйтесь знакомыми вам стихотворениями Некрасова).
4. Соберите все черты эксплуатации народного труда; выпишите фразы, характеризующие отношения к рабочим генерала, подрядчика.
5. Сопоставьте образ рабочего белорусса с образом подрядчика.
6. Какой смысл имеет эпиграф? Кто же строитель дороги (вскрыть классовую основу разных ответов на этот вопрос)?
7. Каковы общественные идеалы поэта? Его отношение к народу и его судьбе. Сопоставьте с заключительными стихами „Размышления у парадного подъезда".

---

1. Определите стихотворный размер и чередование рифм.
2. Из каких частей и в какой их связи состоит художественное целое данного произведения (пейзаж, жанровая картинка и т. д.)?

Тема:

Письмо Вани к товарищу о том, что он узнал от поэта о постройке железной дороги, и какие мысли, чувства, желания вызвали в нем эти картины народного труда. Привлечь для текста письма следующее воспоминание Г. В. Плеханова:

... «Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили „Железную дорогу", раздался сигнал, звавший нас на фронтовое ученье. Мы спрятали книгу и пошли в цейхауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы начали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: „Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!" Эти слова глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать „Железную дорогу".

[Бельтов (Плеханов). „За двадцать лет".]

---

2. Задания к рассказу А. Серафимовича „Стрелочник".

1. Опишите рабочий день стрелочника.
2. В зависимости от кого чувствовал себя Иван? (В чем выражалась эта зависимость? Пытался ли Иван протестовать? Как объяснить жестокое обращение Ивана с коровой?)
3. Почему и как произошла катастрофа? Что подготовило ее? Как понять слова: „эти двадцать два года съели его"? Можно ли считать такую смерть Ивана простой случайностью?

4. Как протекала жизнь в семье Ивана? Откуда осиротевшей семье ждать помощи?

5. О чем говорил звук рожка? Выделите это лирическое место и установите связь его с основным ходом событий (фабулой) в рассказе.

---

3. Задания к рассказу А. Серафимовича „Сцепщик".

1. Как тянул Макар свою лямку? (В чем состояла работа Макара? Опасности труда. Заработная плата. Обращение начальства.)

2. Соберите черты, рисующие жизнь семьи Макара. (Почему Макар плохо обращался с женою и детьми?)

3. Приведите места рассказа, из которых видна любовь Макара к своим семейным.

4. Разберитесь в случае с помощником начальника. (Почему Макар отказался сцепить паровозы? Какие чувства и мысли вызвала у Макара кулачная расправа? Что заглушило в нем „едкое чувство обиды"? Когда и почему пропала эта „ноющая боль"? Почему Макар пошел к Семенычу?)

5. Что именно „грозное и неумолимое" услышала в пьяных словах мужа хозяйка? Как представить себе дальнейшую жизнь Макара?

6. Почему у Макара было „некуда обратиться, некому заступиться"? (Какие средства самозащиты у рабочих были в дореволюционное время? Сравните с положением рабочего в наше время.)

---

4. Задание.

1. Прочтите из повести Л. Н. Толстого „Детство" главу „Детство" (XVII).

2. К какой семье принадлежит автор воспоминаний о детстве? Из чего это видно?

3. Как оправдываются вступительные строки этих воспоминаний дальнейшим содержанием их?

4. Какие условия жизни окружали автора воспоминаний в его детстве?

5. Припомните картины детства Илюши Обломова и сопоставьте их с картиной детства Николеньки: что сходного в условиях, окружающих детские годы жизни того и другого?

---

5. Плач детей.

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих
людей, —
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
В золотую пору малолетства
Все живое счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабрике колеса
Мы вертим — вертим — вертим.
Колесо чугунное вертится
И гудит, и ветром отдает;
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, все кругом идет.
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит;
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит —
гудит.

Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать.
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы спать.
Нам домой скорей бы
воротиться...
Но зачем пойдем мы и туда...
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда,
Там, припав усталой головою
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...

Н. Некрасов.

---

1. Какие условия жизни окружают детские годы тех, кто выведен в этом стихотворении?
2. Сопоставьте семейную обстановку жизни детей, выведенных в этом стихотворении, с такой же обстановкой Николеньки и Илюши.
3. В чем оправдываются жалобы детей? Как они сами сопоставляют свою участь с жизнью детей-счастливцев? Найдите параллели в словесных выражениях, какими рисуется жизнь детей-счастливцев в данном стихотворении и у Л. Толстого.
4. Как выражены картины контраста в жизни детей у Некрасова и Л. Толстого?
5. Сопоставьте условия жизни детей по этому стихотворению с условиями жизни „крестьянских детей" в стих. Некрасова и с жизнью „Саши" в поэме Некрасова: какие параллели вы проведете?
6. Сопоставьте условия фабричного труда детей с условиями сельскохозяйственного труда крестьянских детей по Некрасову же.
7. В каком отношении к содержанию всего стихотворения находятся первые вступительные строки? В чем бы изменился смысл этого стихотворения, если бы была опущена эта строфа?
8. „Я им очень дорожу" — так выразился Некрасов о произведении „Плач детей". Чем в особенности мог дорожить Некрасов в этом стихотворении?

---

6. Задания к рассказу Л. Андреева „Петька на даче".

1. Прочтите рассказ Чехова „Ванька Жуков".
2. Что схожего в условиях жизни Петьки и Ваньки?
3. Сопоставьте жизнь Петьки и Ваньки в деревне и их самочувствие.
4. Как подействовало на Петьку извещение о возвращении к Осипу Абрамовичу?
5. О чем мечтал Ванька?
6. Какой из рассказов полнее вырисовывает характер мальчиков?
7. Дайте общую характеристику Петьки: его внешний вид, движения, черты характера.
8. Опишите переживания и поведение Петьки по пути на дачу и обратно.
9. Опишите переживания и поведение Ваньки в отсутствии хозяев.
10. Что общего в условиях жизни детей рассматриваемых произведений? Что сходного в их переживаниях?
11. В каком смысле можно сопоставить рассказы о Петьке и Ваньке с „Плачем детей" Некрасова?

Тема:

В парикмахерской (описание).

---

7. В недрах земли.

Раннее весеннее утро — прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплыло в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, брильянты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни, смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом повилики. Все блещет и нежится, и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и узких балках, между крупными обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, невидимые глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, ровными и могучими вздохами.

Резко нарушая прелесть этого утра, гудит на Гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадою, точно жалуясь на что-то. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой, неожиданной силой.

На огромном зеленеющем горизонте степи только одна эта шахта со своими черными заборами и торчащей над ними безобразной вышкой напоминает о человека и человеческом труде. Длинные, красные, закопченные сверху трубы изрыгают, не останавливаясь ни на секунду, клубы черного, грязного дыма. Еще издали слышен частый звон молотов, бьющих по железу, и протяжный грохот цепей.

Сейчас должна спуститься под землю вторая смена. Сотни две человек толпятся на шахтенном дворе между штабелей, сложенных из крупного, блестящего на изломах каменного угля. Совершенно черные, пропитанные углем, немытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги, — все это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе.

Но понемногу толпа уменьшается, вливаясь в узкую деревянную дверь, над которой прибита белая дощечка

с надписью „ламповая". Ламповая битком набита рабочими. Десять человек, сидя за длинным столом, беспрерывно наполняют маслом стеклянные лампочки, одетые сверху в предохранительные проволочные футляры.

Получив лампочку, шахтер проходит в другую комнату, где старший табельщик отмечает его фамилию в дневной ведомости, а двое подручных тщательно осматривают его карманы, одежду и обувь, чтобы узнать, не несет ли он с собою папирос, спичек или огнива.

Убедившись, что запрещенных вещей нет, или просто не найдя их, табельщик коротко кивает головой и бросает отрывисто: „проходи".

Тогда через следующую дверь шахтер выходит на широкую, длинную крытую галлерею, расположенную над „главным стволом".

В галлерее идет кипучая суета смены. В квадратном отверстии, ведущем вглубь шахты, ходят на цепи, перекинутой высоко над крышей через блок, две железные платформы. В то время, когда одна из них подымается, — другая опускается на сотню сажен. Платформа, точно чудом, выскакивает из-под земли, нагруженная вагонетками с влажным, только что вырванным из недр земли, углем. В один миг рабочие стаскивают вагонетки с платформы, ставят их на рельсы и бегом влекут на шахтенный двор. Пустая платформа тотчас же наполняется людьми. В машинное отделение дается условный знак электрическим звонком, платформа содрогается и внезапно со страшным грохотом исчезает из глаз, проваливается под землю. Проходит минута, другая, в продолжение которых ничего не слышно, кроме пыхтенья машины и лязганья бегущей цепи, и другая платформа — но уже не с углем, а битком набитая мокрыми, черными и дрожащими от холода людьми, вылетает из-под земли, точно выброшенная наверх какой то таинственной, невидимой и страшной силой. И смена людей и угля продолжается быстро, точно, однообразно, как ход огромной машины.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища, — Васька Кирпатый, стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька — двенадцатилетний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и смешно вздернутым кверху носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собирались, и он дожидается их.

Васька всего полгода, как пришел из далекой деревни. Он до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность

шахтенного дела подавляет его бедный впечатлениями ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхъестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в этом мире — бесспорно машинист.

Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке, с сигарой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и насупленный. Ваське он отлично виден сквозь стеклянную перегородку, отделяющую машинную часть. Что это за человек? Да полно: и человек ли он еще? Вон он, не сходя с места и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и в миг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз платформа, затряслось все деревянное строение шахты. Удивительно!.. А он сидит себе, как ни в чем не бывало, и покуривает. Надавил еще какую-то шишечку, потянул какую-то стальную палку — и в секунду все остановилось, присмирело, затихло... Может быть, он слово такое знает?— не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой загадочный и при том облеченный необыкновенной властью человек — старший штейгер Павел Никифорович. Он полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных факелов. По его приказаниям ведутся новые галлереи и делаются забои.

Но неизмеримо выше Павла Никифоровича и машиниста стоит во мнении Васьки директор шахты — француз Карл Францович. Он может сделать все, решительно все на свете, что ему только ни захочется.

— Эй ты, Кирпатый, полезай что ли! — услышал Васька над своим ухом грубый оклик.

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, при которой он состоял подручным. Собственно ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме, с ними же постоянно работал в шахте.

На платформу вместе с Васькой взошло еще пять человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал во всем теле необычайную легкость, точно у него за спиною выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в руках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неровных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот странный физический обман всегда испытывается непривыч-

ными людьми в то время, когда платформа достигает середины ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокружение.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекающие к главному стволу подземные источники; и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избегнуть этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах с капюшонами на головах вкатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ кинул кому-то из них „здорово, Тереха“, но тот не удостоил его ответом, и партия разбрелась в разные стороны. Каждый раз, очутившись под землей, Васька чувствовал, как им овладевает какая-то молчаливая, гнетущая тоска.

Эти длинные черные галлереи казались ему бесконечными. Изредка мелькал где-то далеко-жалкой, бледно-красной точечкой огонек лампы, и пропадал внезапно, и опять показывался. Шаги звучали глухо и странно. Воздух был неприятно сыр, душен и холоден. Иногда за боковыми стенами слышалось журчанье бегущей воды, и в этих слабых звуках Васька ловил какие-то зловещие, угрожающие ноты.

Васька шел следом за дядей Хрящем и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью бревенчатые стены галлереи тусклые желтые пятна, в которых причудливо метались взад-вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка, три уродливые, неясные тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки. Вот здесь засыпало обвалом четырех человек.

Рассказывали также об одном старом рабочем, который много лет тому назад заблудился в галлереях, знакомых ему, как свои пять пальцев. Его нашли только через три дня, обессилевшим от голода и сошедшим с ума. Говорили, что „кто-то“ водил его по шахте. Этот „кто-то“ — страшный, безымянный и безличный, как и породивший его подземный мрак, несомненно, существует в глубине шахт, но о нем никогда не станет говорить ни один настоящий шахтер — ни в трезвом, ни в пьяном виде. И каждый раз, когда Васька, идя следом за своей „партией“, думает о „нем“, он чувствует на своем теле чье-то тихое, холодное дыхание, кидающее его в дрожь.

— Ну что, Ванька, хорошо погулял? — спросил дядя Хрящ, оборачиваясь на ходу в сторону Грека.

Грек не ответил и только презрительно сплюнул сквозь зубы...

... До места работы было почти полторы версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими, коленчатыми галлерейками. Кое-где нужно было нагибаться,

чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырей и удушливей.

Наконец, они дошли до своей лавы.

В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя, приходилось отбивать уголь, лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча разделись, оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом. Грек почувствовал себя совсем нехорошо. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как будто ее налили ртутью. Однако Грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он кайло в хрупкий звенящий уголь. Временами он как будто бы забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно передвигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек только на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галлереях. Когда он возвращался второй раз порожняком, его издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из отверстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как будто бы его душили за горло. Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованно голос дяди Хряща.

— Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.

Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то-и-дело трогал Грека за холодную трепещущую руку и приговаривал просительным голосом.

— Да Ванька... да перестань же... ну будет же, будет...

Это был страшный приступ падучей. Какая-то ужасная сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобразных судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затылком о землю, то тяжело падал вниз телом и корчился, касаясь коленями подбородка, то вытягивался, как палка, дрожа каждым мускулом.

— Ах, господи, вот история, — бормотал испуганно дядя Хрящ. — Ванька, да перестань же... послушай... Ах, ты, боже мой, как это его вдруг!.. Постой-ка, Кирпатый, — вдруг спохватился он, — ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми.

— Дяденька, а как же я-то? — жалобно протянул Васька.

— Ну, поговори у меня еще! Сказано сиди, и дело с концом, — грозно прикрикнул дядя Хрящ.

Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее в рукав, побежал из галлереи.

Васька остался один над бьющимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, объятый суеверным ужасом и боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вытянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. „Господи, да уж не помер ли он“,—подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий мороз наежил волосы на его голове. Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно.

— Дяденька Грек, а, дяденька Грек,— прошептал Васька.

Грек не отзывался.

— Дяденька, вставай. Позвольте, я вас поведу до больницы. Дяденька!..

Где-то в ближней галлерее послышались торопливые шаги. „Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается“, подумал с облегчением Васька.

Однако это был не дядя Хрящ.

Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой.

— Кто здесь есть? Живо выходи наверх! — крикнул он взволнованно и повелительно.

— Дяденька, — бросился к нему Васька, — дяденька, здесь с Греком что-то случилось!.. Лежит и не говорит ничего.

Шахтер приблизил свое лицо вплотную к лицу Грека.

— Эй, Ванька Грек, вставай, — крикнул он, раскачивая руку больного. — Вставай что ли, говорят тебе. В третьем номере обвал случился. Слышишь, Ванька?..

Грек промычал что-то непонятное, но не открыл глаз.

— Ну, некогда мне с ним возжаться, — нетерпеливо воскликнул шахтер. — Буди его, малец. Да поскорее только. Неровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как крысы...

Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли и его частые шаги. Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головою миллионы пудов земли. Рухнут и раздавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть и не сможешь раскрыть рта... Захочешь пошевельнуться — руки и ноги придавлены землей... И потом смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть...

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи.

— Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же! — кричит он, напрягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами — и с правой и с левой стороны — звуки тяжелых беспорядочно-спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего Грека и самому бежать, очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теребить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону; поднятая рука падает как плеть. В эту минуту взгляд Васьки падает на угольную тачку, и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее тело и взваливает его на тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы.

В галлереях пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних, запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтобы удержать равновесие. Его худые детские ручонки вытянулись и обмлели, груди нехватает воздуху, в висках стучат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы, передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

„Нет, не могу!“ Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев.

Слава богу, последний поворот! Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих подъемную машину.

Люди толпятся на платформе.

Скорей, скорей!

Еще одно последнее отчаянное усилие...

Что же такое, господи! Платформа поднимается... вот она исчезла совсем.

Подождите! Остановитесь!

Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом...

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францович тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно:

— Oh, mon brave garçon! О, ти храбрий мальшик!

Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.

А. Куприн.

---

1. В каком отношении к содержанию рассказа стоит вступление, дающее картину весеннего утра?
2. Охарактеризуйте отношения к Греку в несчастном случае с ним дяди Хряща, шахтера — вестника об обвале и Васьки.
3. Как охарактеризуете вы поступок Васьки? Найдите меткое, характеризующее этот поступок, слово.
4. Что могло быть выражено во взглядах, какими обменялись Грек и Васька по миновании несчастия?

Тема:

Придумайте эпизод, в котором Грек выручает Ваську из беды.

---

8. Задания к рассказу А. Серафимовича „Под праздник".

1. Выделите и сопоставьте общие черты с рассказом Куприна „В недрах земли": в описании шахты, условиях работы шахтеров, их настроении и т. п.
2. Сопоставьте отношение к работе Финогенова и Грека.
3. Охарактеризуйте отношение Финогенова к Сеньке: чем объясните вы это отношение?

Темы:

1. Труд шахтера.
2. Детский труд в шахтах.
3. Дети труда (по произведениям Некрасова, Л. Андреева и Серафимовича).

---

9. Задания к рассказу Л. Андреева „Гостинец".

1. Как проявляются характеры Сазонки и Сенисты в сцене свидания их в больнице?
2. В чем дополняет характеристику Сазонки и его отношения к Сенисте II глава рассказа?
3. Вскройте душевные переживания Сазонки в связи с известием о смерти Сенисты.
4. Как растолкуете вы восклицание „Разве мы не люди!" в устах Сазонки?
5. Какую роль может сыграть в жизни Сазонки образ Сенисты?

Тема:

Гостинец больному — в память Сенисты (рассказ).

---

10. Задание.

Прочтите рассказ Л. Сейфуллиной „Правонарушители".
1. Что обозначает термин „правонарушитель"? Как понимал его Гришка Песков?
2. Что вы знаете о беспризорных детях и о мерах борьбы с беспризорностью?
3. Укажите в повести картинки и сцены, характерные для уличной жизни беспризорника.
4. Какие условия жизни сделали из Гришки „правонарушителя"?
5. Как истолкуете вы в применении к Гришке Пескову следующие строки: „Хотел сказать (комендант): „Пропащий!" Но свет глаз Гришкиных остановил".
6. Почему Гришка Песков не ужился в детском доме?
7. Как подошел к „правонарушителям" Мартынов? Чем он расположил к себе Гришку Пескова?
8. Что в обстановке жизни колонии Мартынова действовало на правонарушителей оздоровляюще?

---

1. Основные черты характера Гришки Пескова.
2. Главные моменты в развитии личности Григория Пескова.
3. Язык Пескова.
4. Особенности языка Мартынова: как выражен в нем его характер?

Тема:

Жизнь Гришки Пескова по выходе из колонии.

---

11. К широкой дороге.

Пройдя широкий двор, загроможденный старыми частями станков и машин, тележками, колесами, подъемными кранами и целыми вагонами, Игнат взялся за ручку двери и переступил высокий порог. И в тот же миг его обдало сладковато-приторным запахом железа и масла и оглушило грохотом и диким, словно торжествующим воем.

— Вон он! Вон он, Игнат с Новоселовки! — верещали, хлопали и, как сумасшедшие, хохотали ремни под потолком.

— А-а-урр... А-а-урр... гудело и рычало где-то октавой чугунное чудовище...

— Тррах-тах-та-а... Тррах-тах-та-а...

— Взззз! — высокой фистулой сверлило воздух.

У Игната слегка захватило дыханье и на минуту он остановился.

Отец его, Максим Пастерняк, ушедший значительно вперед, вернулся и дернул его за руку.

— Ну, чего рот разинул? Ступай за мной!

Игнат покорно пошел вслед за отцом. Понемногу страх проходил, сменяясь удивлением перед мощью и движением мастерской, казавшейся одушевленной. Стал замечать, что вся эта шумящая громада имеет свои отдельные части. Там точился длинный вал, и стружка бежала от резца вниз белой спиралью, извиваясь, точно змея. В другом месте, сощурив глаза, токарь на быстром ходу резал медь, и стружка брызгала трескучим, сверкающим фонтаном. Суетливо сновал ползун строгального станка, и сосредоточенно клевал, словно дятел, долбежный станок...

— Ну, ты ж теперь смотри, — предупредил Максим, поворачивая от большого и широкого прохода в сторону, между станками. — Не сунь куда-нибудь пальца.

Игнат старался не зевать. Но выходило так, что, едва он уклонялся от одного шкива или шестерни, с другой стороны его уже поджидал, выдвигаясь, какой-нибудь рычаг или, как струя, бегущий ремень.

Ведь чуть-чуть не зацепился блузой за шестерню! Он боялся остаться один и старался не отставать от отца. Подойдя к длинному станку, стоявшему на восьми чугунных лапах вдоль стены под зарешеченным окном, Максим остановился. Отпер ящик и, положив туда узелок с харчами, стал вынимать резцы, ключи и прочий инструмент. Смазав станок маслом, забрал стружку; попробовал кронциркулем, еще прибавил, а когда вышло в самый раз, запустил самоход.

Отсюда был виден длинный ряд черных, чугунных колонн, покрытых в конце ряда синеватой дымкой. Креп-

кими кронштейнами, как согнутыми в локтях руками, колонны держали чуть не стосаженный вал, густо унизанный чугунными шкивами, похожими на широкие колеса. Казалось, что эти липко охваченные ремнями и холодно поблескивавшие шкивы собираются лететь куда-то. А внизу — станки, которые вдали сливались в одну чугунную массу, шевелящуюся своими членами. Рассеянные всюду черные фигуры рабочих тонули в этой массе.

— Стой здесь, — приказал Максим Игнату, а сам подошел к группе товарищей.

Костычев сидел на каретке своего станка и слушал других с добродушной улыбкой хитрых серых глаз. Полная и крупная фигура, гладко причесанные и даже подмасленные волосы и большая светлая борода придавали его лицу степенность и делали похожим на купца или попа. Его называли „кацапом“ и острили, что он в Брянских лесах медведей пас. Против него на обрубке дерева, угрюмый и всклокоченный, с мешками под красивыми карими глазами, сидел токарь Журба, а подальше, в хорошо сшитом, почти свежем пиджаке и с мягким лицом горожанина, токарь Никонов просматривал газету. Он появился здесь недавно. За ним была глухая молва, что он когда-то и за что-то пострадал, но как и что — никто толком не знал.

Арматурщик Сурков, небольшой и чрезвычайно подвижной, с широким лицом и маленьким носом, похожим на кнопку, оживленно рассказывал о вчерашней ссоре с своей женой и про то, как он ее, в конце-концов, „проучил“.

— Брешешь, — заметил ему сквозь зевоту Журба: — я слышал, что она тебя бьет.

Максим поздоровался.

— Привел? — спросил Журба.

— Да что ж, надо же когда-нибудь свой хлеб зарабатывать, хе-хе...

— Нравится, видно, тебе этот хлеб?

Максим чуть смутился.

— А чем плох? Не ворованный.

— Только и того...

— Да разве ж ему пятнадцать лет? — спросил Сурков.

И правда, Игнату было меньше, но Максим уломал волостного писаря годок прибавить; тем не менее, он уязвил:

— А ты разве больше был в таких годах?

— Вот те и на! — подхватил Костычев. — Это он к старости стал вниз расти.

Посмеялись.

— Что ж ты дальше его не учил? — опять спросил Журба. — Гайка что ли развинтилась?

— Какая тут учеба, — нахмурился Максим. — Читать, писать умеет — и ладно. Ты вот и совсем ни бельмеса не знаешь.

Донеслось протяжное цыканье.

Рабочие насторожились и потянули на свои места.

Между станками шел, чуть кивая головой на приветствие, в тужурке и бельгийской фуражке подмастерье Золотько, недавно сам работавший на станке токарем.

При его приближении Журба склонился над станком и сделал вид, что совсем ушел в работу.

Подмастерье на минуту задержался, точно чего ожидая, криво усмехнулся, дернул плечом и пошел дальше.

Максим стащил картуз и низко поклонился.

— Сынишку вот привел, Николай Иваныч.

— Угу... хорошо, пусть идет в контору.

Максим заискивающе улыбнулся.

— Я, Николай Иваныч, тово... тут, есть дрыгалочка свободная...

— Хорошо, хорошо... я там посмотрю.

В конторе Игнат получил номер, а через час стоял у дрыгалки и с живым интересом, смешанным с суеверием, наблюдал, как вилась из-под резца стружка и торопливо щелкала по зубьям храповика собачка. Благодаря этому любопытству он раз прозевал, и резец зарезал не только головку болта, но и хомутик. Ремень свистнул, заскользил и упал со шкива, резец лопнул. Игнат растерялся и бросился к отцу.

— Папаша, — дернул он Максима за блузу,—там станок... поломался.

Максим опрометью бросился к дрыгалке.

— Фу, ты... дур-рак! А я-то думал что! Ворон ловить не надо, вот что!

И сгоряча дал ему леща. Затем уже спокойно надел ремень, направил резец и, снова пустив станок, дал новую затрещину.

Мальчуганы, работавшие в том же ряду на других дрыгалках, перестали хихикать. А когда Максим ушел к своему станку, сосед его, работавший на другой половине того же станка, плюнул ему вслед и сказал, обращаясь к Игнату:

— Ты, ежели что, говори мне. Ишь, чорт, рад, что одолел! Тут, брат, нет такого права, чтобы драться.

Игнат наклонился к станку низко, низко и тихо ответил:

— Ничего...

— Да ты что? Смотри, волосы хомутом зацепит!

Игнат вздрогнул и поднял голову — в глазах стояли слезы. Губы дрогнули.

— Ничего...

Остановив станок, он полез в ящик и долго сидел перед ним на корточках, пряча лицо от чужих глаз...

На карнизе окна сел голубь, закружился и заворковал, распуская хвост и переливая лучами на своей груди.

— Гули, гули... гулиньки!.. — позвал один ученик. Голубь на мгновенье остановился, заглянул сквозь железную решетку в мастерскую и стрелой взвился в воздух.

Игнат не заметил, как подошел отец.

— Ты что ж, просить тебя надо? Ступай за кипятком. Завтрак сейчас!

Не глядя в лицо Максима, Игнат взял из его рук чайник и пошел к кубам, где уже толпились рабочие.

Пробил звонок. Машина стала, и умер гул мастерской. Странна была эта тишина, и слишком громко раздавались в ней голоса людей. Кто-то заработался, застучал молотком.

— Тю-у... тю-у! головой! — понеслись к нему негодующие крики.

Удары смолкли.

На незанятом куске Максимова станка, застланном деревянными щитками, были расставлены чайник и харчи.

Костычев и Максим сидели на постели, а Сурков и Журба примостились напротив на больших подшипниках. Игнат устроился на деревяшке.

Завтракали пока молча.

Вдруг дверь заскрипела, и в мастерскую нырнул сторож, за ним породистый дог, а затем и сам директор.

— Сс... понеслось негромко по мастерской.

Костычев быстро встал и отвесил ему низкий поклон. Сурков и Максим сделали тоже. Журба приподнялся, было, но тотчас же сел и слегка пригнулся, скрываясь за станками.

— Ишь, чорт его носит! — ворчал он. — Поесть не даст спокойно!.. Сиди, хлопчик.

— Директор! — тихо, но строго буркнул Максим сыну.

Игнат вдруг почувствовал страх и хотел подняться, но недавняя обида отца давила плечи.

Между тем загадочная для него фигура директора скрылась в глубине мастерской, и в ту же минуту от отца он получил оглушительную затрещину.

— За что бьешь? — вступился Журба.

— За дело!

— За какое дело?.. Ведь он тебе не мешает гнуть шею?

Некоторое время молчали.

— Чорт вас знает! — воскликнул вдруг Журба. — И отчего это никто из вас газеты не выпишет? Ну, пускай уже я — неграмотный, старый клык, а вы ж таки умеете читать.

— А что тебе читать? — усмехнулся Костычев.

— Да мало ли что! Вот я в Ростове работал, там каждый день читали, — убийств этих, краж, пожаров сколько... Как что? Разве ж только и свету, что здесь?

— Ну, про это мне и баба расскажет.

— Десять рубликов не валяются, — заметил Максим.

— Пропьешь больше!

Сурков закурил папиросу и засмеялся.

— Еще зачитаешься!

— Кто? Ты? — спросил Журба и смерил его насмешливым взглядом. — Тебе, брат, нечего бояться...

Сурков обиделся. Но Журба не стал его слушать, поднялся и ушел. А через минуту и мастерская снова гремела, подавляя голоса людей.

Игнат снова кернил болты, брал их в хомутик и ставил в центра. Когда болт протачивался, опять кернил, заворачивал и ставил.

— Ты сколько выточил? — спросил сосед.

— Двадцать.

— А я — тридцать пять. А если б запустил на шибкий ход, так и еще больше было бы.

Показался старый бородатый котельщик. На плече молоток, в руках зубилья.

— Ба! — воскликнул Максим, — член куриного клуба!

— Бра-ама?! — притворно изумился Журба густым басом. На что Сурков пискливо и коротко ответил:

— Пугра!

И в ту же минуту, вперемежку с хохотом, добрый десяток толстых и тонких голосов стал выкрикивать:

— Бра-ама — путра! Бра-ама — путра!

И длилась эта перекличка, похожая на перебрасыванье мяча, до тех пор, пока любитель кур не исчез куда-то. В заключение кто-то густейшей октавой промычал по телячьи, за что и был награжден заливчатым смехом.

К точилу подошел чернорабочий. Только-что приладился точить топор — подошел Черницын, будто резцы точить, и, крадучись, налил ему в голенища сапог масла. Через минуту чернорабочий почувствовал в сапогах неловкость и некоторое время с недоумением озирался кругом. Затем на лице его отразился испуг, и, бросив топор, он сел на пол и стал разуваться, дрыгая поднятою кверху ногой. Кругом неистово хохотали.

Кто-то успел уже поранить себе руку и, бледный, как мелом намазанный, беспрестанно дымя папиросой, побрел в больницу...

— Тебя не Павлом зовут? — спросил Игнат своего соседа.

— Верно. А мой отец в кузне работает.

— Ага, ты по другой от нас улице живешь?

— Ну, да. Э-э, да мы с тобой, кажется, стукались раз на кулачках?

Обоим стало веселее.

Павел точил длинные болты, и потому, пока шел самоход, он разговорился и рассказал Игнату про свое житье.

Игнат плохо слушал соседа и все кернил, брал в хомутик, ставил в центра и точил. точил...

— Ну, довольно, — сказал Павел. — Пора уж руки мыть. Ты их сначала маслом. Хорошо еще с наждаком или опилками, а потом паклей вытрешь.

Гул в мастерской заметно утихал, все яснее выделялись голоса людей и звяканье стальных резцов — убирали инструмент.

Ударил звонок, и машина стала. Испуганно пронеслись запоздалые удары, и рабочие задвигались, зашумели и потянулись вон из корпуса.

После обеда Павел показал Игнату, как работать на два хомутика и как точить резец в то время, когда станок идет. Потом показал крайне интересный для Игната фокус: передвинул на поводке валик — и собачка стала брать на храповике вместо одного два зуба.

— Я, брат, и резьбу умею делать, — хвастался Павел.

Подошел Черницын, забрал часть обточенных болтов, а на их место положил столько же неточенных. Сопротивляться Игнат не стал. Не хотелось говорить и отцу. Но тот сам подошел и, посмотрев на работу, заметил:

— Как будто больше было.

— Да это, дядя, вон тот рыжий забрал, — ответил за Игната Павел.

Максим угрожающе подошел к Черницыну.

— Зачем забрал?

— Не твое дело, — огрызнулся Черницын.

— Что-о! Не мое дело? Вор.

— Сам ты вор, — не смущаясь, ответил Черницын.

На минуту Максим растерялся. Игнат был уверен, что он сейчас ударит обидчика. Но Черницын держал в руках молоток, и Максим в бессильной злобе сучил ему кулаки и бросал путаные ругательства. И лишь когда пригрозил пожаловаться мастеру, Черницын сгреб взятые у Игната болты и швырнул ему обратно.

Черницын сдался. Но сдался вовсе не из боязни Максима, это Игнат отлично видел. И почувствовал глубокое разочарование: значит, отец только дома так грозен, а здесь, среди этого железного грохота, и он такой же беспомощный, как и все.

А с этим вместе почувствовал и свое одиночество и беспомощность.

Стремился куда-то вал, мелькая спицами шкивов; беспрерывно ползли, как змеи, ремни, гупал кузнечный молот, и тяжело дышала машина. Была минута, когда сознание затуманилось, и он словно поплыл в глубокую бездну — шум стал далеким-далеким.

— Ну, токарь, как дела? — ласково спросил Максим. — Ого, ишь сколько накатал! Старайся, старайся, там скоро и самоточку получишь, жалованья прибавят. Пока отец жив,

унывать не следует. Пойдем-ка чаю кружку выпьем. Вечер будем работать.

У его ящика уже сидели Журба и Костычев.

— Да ну, бросай! — кричал Журба Суркову. — Всех денег не заберешь.

Сурков остановил станок и подошел.

— Хорошо тебе, чорту: запустил самоход — и ладно, а на этой дьявольской арматуре—как проклятый: вертишься, вертишься, а чуть стал — и все стало.

— Э-эх, и скучно же, братцы, стало у нас, — грустно сказал Журба. — Ни песни не слышно, ничего. Стоят все у своих станков, как собаки возле будок...

— Не в гости сюда пришли, — заметил Максим.

— Без батька твоего знаю. Да разве я про то? Почему, скажи, ты будто каторжник вертишься с утра до ночи, другой же палец о палец не ударит, а денежки огребает, да и не такие, как мы с тобой...

— Да кто ж тебе мешает, — засмеялся Сурков,—возьми и огребай.

Журба сурово посмотрел на него, но промолчал. А Максиму сказал:

— По-твоему выходит так, будто я для того и на свет народился, что токарь нужен был, — и задумался.

Вечер тянулся так долго, что Игнату казалось — ему и конца не будет. Часто, очень часто бродил он к часам, но стрелки ползли, словно мертвые.

Зажгли огонь. Красные языки газовых рожков усеяли мастерскую и стояли в усталых глазах Игната большими радужными веерами. Павел предложил пройтись по мастерской.

На одном станке токарь нарезал винт. Забрав стружку, он повернулся к ним и недружелюбно спросил:

— Вы чего рты разинули?

— А так, смотрим, — ответил Павел.

— Я вам посмотрю! Пошли прочь!

— Уж и посмотреть нельзя? — бормотал Павел.

— Ступай, ступай! Нам никто даром не показывал.

Игнат вышел во двор.

Здесь было темно. Бледный безжизненный свет одиноких керосиновых фонарей робко и неохотно впивался в ночную мглу и как-то болезненно отсвечивал на холодных ребрах всюду наваленного старья.

Слабый ветерок чуть колыхал пламя лампы, и оттого по железным грудам, как по кладбищу, неслышно скользили от углов фонаря длинные и широкие в конце тени. За углом стонавшего внутренним стоном здания были навалены кучи железных стружек. Где-то над крышей чохкал отработанный пар машины, чохкал тем же размером, как билась кровь в висках.

Игнат стал в тени между этими кучами и напряженным взглядом посмотрел в синее, глубокое небо.

Из-за угла кто-то вышел. Пройдя вглубь двора, остановился. Сняв картуз и откинув растегнутый ворот блузы, закурил папиросу, и огонь спички на мгновение осветил сухощавое лицо, выпуклый лоб, скулы и нос. Игнат узнал Журбу.

Долго смотрел Журба на небо. Слышно было, как он глубоко вздохнул и протянул:

— М-да-а... жизнь, матери его чорт...

Потом сел на ржавую, с отбитыми краем цилиндровую коробку и, свесив взлохмаченную голову, задумался.

Игнат, осторожно ступая, чтобы не встревожить его, вышел из-за куч и прошел в мастерскую.

У станка Игнат не выдержал и задремал... Ему казалось, что он не спит. Слышал он, как Асмоловский, разложив на станке в тон подобранные резцы, стал выбивать казачка, и как Черницын пустился в пляс, легко и ладно отбивая каблуками. Со стороны дружно подхлопывали, припевая:

Ой, дуб - дуба, дуба, дуба...

Ему только не хотелось раскрывать глаз, потому что он и так знал, кто пляшет. Но шум станков и ремней становился все мягче, все глуше; глубоко где-то под землей гупал паровой молот и размеренно дышала машина. И было похоже, что пляшут души станков и машин, ремней и колес...

Между тем, в другом конце мастерской затянули песню. Чуть слышной печалью донеслись ее первые звуки. Когда же пляска и смех начали гаснуть, песня окрепла и стоном далеким покрыла весь гам.

Де ты, до-оле мо-я, бродышь...

полные тоски, звали тенора и, уже изнемогая, близкие к отчаянию, сплетались с басами, гудевшими мрачно, со скрытой угрозой:

Не доклычусь я тебе...

И чудилось, что в широкой-широкой степи, где ковыль без конца да камыш, ходит молодой казак, ищет свое счастье, зовет. А другой, уже старый, иссохший от зноя степного и ветров, ему отвечает уныло, без веры:

— Ходил я... весь век свой искал, всю степь исходил... И нет этой доли: пропала...

Обнялись и вместе уже зарыдали...

Журба подладил, было, баском, но песня вскоре растаяла. Смолк Журба и задумался... И стоял так, пока резец не прошел кольцо насквозь и не врезался в патрон.

Черницын подкрался сзади к Игнату и дико ухнул. Игнат шарахнулся и проснулся. Близился шабаш. Кое-где уже убирали инструмент.

К Максимову ящику то и дело подходили по-очереди его приятели, засовывали головы в ящик и отходили, пережевывая закуску. „К богоявленной прикладывались".

То Игната клепали, будущего токаря.

А. Бибик.

---

1. Проследите смену настроений Игната Пастерняка за первый день его заводской жизни.
2. Соберите черты заводских нравов (взаимные отношения рабочих; отношения к директору завода, к мастеру; отношение к работе; развлечения).
3. Где в рассказе даны указания на первые ростки классового самосознания рабочего?

---

1. На каком заводе вы были? Сравните с описанным здесь.
2. Изложите ваши впечатления от посещения завода. (Общий вид завода; местоположение; картины труда в мастерских; зарисовки отдельных фигур рабочих, сценок; разговор с рабочими; „Симфония труда" (чье выражение?); вид мастерских во время отдыха рабочих; конец рабочего дня: по улице к заводу и от него.)

---

12. Новому товарищу.

Вихрь крутящихся колес,
Пляска бешеных ремней...
Эй, товарищ, не робей!
Пусть гудит стальной хаос,
Пусть им взято море слез,
Много сгублено огней —
Не робей!

Ты пришел от мирных рос,
Светлых речек и полей.
Эй, товарищ, не робей!
Здесь безбрежное слилось,
Невозможное — сбылось...
На заре грядущих дней —
Не робей!

Наше счастье поднялось
По верхам седых гребней...
В царстве скорби и теней
Солнце мощное зажглось,
И горит оно сильней —
Не робей!

Словно каменный колосс,
Стань у бешеных ремней...
Пусть сильнее шум колес,
В цепь еще звено вплелось,
Рать сомкнулася плотней —
Не робей!

Самобытник (Маширов).

1913 г.

---

13. Я полюбил.

Я полюбил тебя, рокот железный,
Стали и камня торжественный звон,
Лаву... Огонь беспокойный, мятежный
Гимнов машинных, бравурный их тон.

Я полюбил твои вихри могучие
Бурного моря колес и валов,
Громы раскатные, ритмы певучие.
Повести грозные, сказки без слов,

Но полюбил я и тишь напряженную,
Ровный и низкий и сдержанный ход,
Волю каленую, в бой снаряженную,
Мой дорогой, мой любимый завод.

А. Гастев.

---

14. На заводе.

В каждом звуке, в каждом стуке,
В каждом взмахе колеса,
Как в народе, как в природе
Есть особая краса.

Не стыдиться, а влюбиться
Надо в молота удар,
В эти стоны, перезвоны,
В нестерпимый горна жар.

Шум заводов — мощь народов
Я давно уж полюбил...
Клич призывный, коллективный
Мне до смерти будет мил...

И. Логинов.

---

15. Сын завода.

Я не сбирал в лугах цветов,
Не знаю солнечной деревни,
Лишь песни хриплые гудков
Я с детства слышал ежедневно.

Отец и мать тянули лямку
В плену фабричных корпусов,
А я с ребятами в „орлянку“
Играл на улице босой.

И часто с книжкою рассказов
Любил беседовать в тиши,
Когда нужда сверлящим глазом
Меня искала задушить.

Лишь образ матери-бедняги
Исчезнул в сумраке могил,
Завод, ворчливый работяга,
Меня себе усыновил.

Николай Кузнецов.

(„Рабочая весна“, сб.)
1904 — 1924.

---

16. Коновалов.

...Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты тоже простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он упражнялся с семипудовым куском теста, раскатывая его в чашке, или как он, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала я, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — боялся, что он насадит их друг на друга; но когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати кораваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось „притиска", я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, „подъемистые", вмеру румяные и с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный коровай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

Он нахмурился и потупил голову.

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, ну, тогда и пою... И ежели петь начну — затоскую. Ты уж помалкивай об этом... не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты... штука какая! Ты... лучше потерпи до меня... а пока свисти. Потом уже оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, месяя тесто или катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать...

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с гестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что эта книжка?

Это были „Подлиповцы".

— Почитай вслух, а?.. — попросил он.

И вот, я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец, я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шопотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шопотом заговорил он. — На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пишшит! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... но удержался... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса, и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... — все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кротко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, и я чувствовал, что язык у меня одервенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шопотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет, т.-е. щиплет душу — вот до чего живо. Что же он, этот сочинитель, что ему за это было?

— Т.-е. как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я, имея коварную цель.

— Как за что? Книга... в роде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный, невинный... Какая у них жизнь? Ну, и...

— И?..

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь они, и нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но, увы! она не произвела того эффекта, на который я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне изображать из себя профессора. Я устал, наконец, и сделал паузу.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Мне стало досадно. Я не ответил ему, чувствуя, что эта досада родит во мне раздражение против моей своеобразной аудитории, очевидно, не считавшей себя в силах решать мировые вопросы и склонной интересоваться судьбой человека более, чем судьбами человечества.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу... бумага и на ней точечки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер... — сухо сказал я.

Я в то время терпеть не мог философии, а тем более метафизики; но Коновалов, не справляясь с моими вкусами, продолжал:

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь

и понимаешь: жили на свете люди — Пила и Сысойка, и Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, и ты их видишь, но не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге их нет... однако, тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился. Я разсказал ему о наградах сочинителям...

Однако, надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу.

Кончив печь, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, и в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, и пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Прочитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи... хоть две. Мне, которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы... сказки разные. Не люблю я это все. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку?.. Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему монографию Н. Костомарова: „Бунт Стеньки Разина“. Сначала эта талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, — заглядывая в книгу. И когда я объяснил — почему, он даже зевнул

и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай... ничего. Это я так...

Мне понравилась его чуткая деликатность, и я сделал вид, что ничего не заметил и не понимаю, о чем он говорит.

Но по мере того, как историк рисовал своей художественной кистью фигуру Степана Тимофеевича и „князь волжской вольницы" вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее несколько скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он всегда удивлял меня, и все то простое и женственно-мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, теперь потемневшим и суженным, — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал, взглянув на него.

— Читай, — тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него и видя, что он все более разгорается. От него исходило что то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. Книга тоже действовала... И вот, в состоянии какого-то нервного трепета, полного предчувствия чего-то необычайного, я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — рявкнул Коновалов.

Боль, обида, гнев, готовность выручить Степана звучали в его сильном возгласе.

У него выступил пот на лбу, и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руки на плечо и громко, торопливо заговорил:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные и не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой, и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без „точки" духа, чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

„Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол“...

— Будет!.. К чорту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал в своем волнении.

Его особенно поразили эти выплюнутые Стенькой зубы, и он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: „зубы свои выплюнул с кровью“? А буквы те же самыя, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость пред казнью с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

— Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему „Бунт Стеньки Разина“, „Тараса Бульбу“ и „Бедных людей“. Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он... экое чучело! Однако, брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе... одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой... взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в „хохлах“, один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила „съехали“ вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька „дернул через донские казаки и хохлы“, он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменая, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида, и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — не занимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

Лет пять тому назад я расхаживая по святой Руси без какого-либо определенного маршрута, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и в чаянии заработать немного денег на дорогу я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу, как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда людей: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт,

всюду ямы и кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого по всем направлениям сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него почти саженные кубические камни, опускали их в море, строя в нем оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темнокоричневой горы, изуродованной их руками, и как черви суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в обломках каменной пыли и в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них и раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял сильный стонущий ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала „дубинушка“, стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали;

— Бе-е-ри-и! — И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У одного копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно жалобным голосом выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой да ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда; раздавался тупой охающий звук, и весь копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью и терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то холодные глаза. Над ними безоблачное, жестоко жаркое небо, облака пыли и волны звуков — симфония труда, единственная музыка, которая не дает наслажденья.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения и шума. Все сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и вся работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, — большое, сильное, доброе, и его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они все только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению сооружать — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов, в вечном стремлении моря расширить свои пределы, и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремя стами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

И, улыбаясь спокойной улыбкой титана, сознавшего свою мощь, море овевало своим живительным дыханием титана, еще духовно слепого, порабощенного и жадно ковыряющего землю, вместо того, чтоб стремиться к родству с небом. Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих

коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но с широкой мотней. Это, как я узнал после, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, и голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастием губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты босяки сразу выделялись и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы, сравнительно с работой на тачках и с киркой, более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть „заедавшем“ веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! П'шел!

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ел! — неистово заорал сверху копра нарядчик.— Заржали!..

— Не зевай, Митрич, — лопнешь!.. предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, разсекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И, тем не менее, в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил именно с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб

„встать на работу“, и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались ее обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но двадцатипудовой кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица, с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи, — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя своими горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому...

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-наѳема!.. Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну, вот и хорошо! Теперь совсем отлично! Бродяжь — и все тут! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобой всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна... канитель: не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить... с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все...

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу, точно приготовлял из меня бифштекс. Я не мог вставить ни одного слова в залп его вопросов и только улыбался, — должно быть, весьма неумно, — глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

М. Горький.

---

1. Как относится Коновалов к труду?
2. Как воспринимал Коновалов чтение Максима? (Соберите указания на внешние проявления его заинтересованности; отношение к судьбе героев; раздумья над книгой и писателем.)
3. Разберитесь в характере Коновалова.
4. Как автор рисует картину коллективного труда? Какую роль играет песня в этой „симфонии труда?“ Припомните, где вы встречали это выражение.
5. Выделите все высказывания автора и определите его взгляд на труд, социальные противоречия и т. д.

Что преобладает в образе моря: его описание автором (пейзаж) или мысли автора, связанные с созерцанием моря (аллегоризм)?

---

17. Дубинушка.

По кремнистому берегу Волги реки,
Надрываясь, идут бурлаки.
Тяжело им, на каждом шагу устают
И „дубинушку“ тихо поют.

Хоть бы дождь оросил, хоть бы выпала тень
В этот жаркий, безоблачный день:

Все бы легче народу неволю терпеть,
Все бы легче „дубинушку“ петь.

* * *

— „Ой, дубинушка, ухнем!“
И ухают враз.
Покатилися слезы из глаз.
Истомилася грудь. Лямка режет плечо...
Надо „ухать“ еще и еще!

От Самары до Рыбинска песня одна;
Не на радость она создана:
В ней звучит и тоска—похоронный напев,
И бессильный, страдальческий гнев.

Это—праведный гнев на злодейку-судьбу,
Что вступила с народом в борьбу
И велела ему, под ярмом, за гроши,
Добывать для других барыши...

* * *

— „Ну, живее!“ — хозяин на барке кричит
И костями на счетах стучит...
...Сосчитай лучше ты, борода-грамотей,
Сколько сложено русских костей
По кремнистому берегу Волги реки,
Нагружая твои сундуки!

Л. Трефолев.

---

18. Дубинушка.

(Рабочая песня.)

Ну, ребята, принимайся,
За дубинушку хватайся!

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
Поддернем, поддернем!
Да ухнем!

Ну-тка примемся за дело,
Чтоб оно у нас кипело!
Эй, дубинушка, и т. д.

Ну-ка примемся мы дружно,
Поскорей окончить нужно!
Эй, дубинушка, и т. д.

Ну, ребята, не зевайте,
Разом дружно напирайте!
Эй, дубинушка, и т. д.

Вы тяните посильнее,
Опускайте враз дружнее!
Эй, дубинушка, и т. д.

(Поется при подъеме или переноске тяжестей.)

19. Гармонист.

Было тихо. Было видно дворнику,
Как улегся ветер под забор
И позевывал... И вдруг с гармоникой
Гармонист вошел во двор.

Вскинул на плечо ремень гармоники
И, рассыпав сердце по ладам,
Глянул — и на подоконниках
Все цветы поплыли по лугам.

Закачались здания кирпичные,
Далью, далью опьянясь,
Ягодами земляничными
Стала сладко бредить грязь.

Высыпал народ на подоконники
И помчался каждый, бодр и бос,
Под трезвоники гармоники
По студеному раздолью рос.

Почтальон пришел и, зачарованный,
Пробежал глазами адреса,
Увидал, что письма адресованы
Только нивам да лесам.

В. Казин.

---

20. Задания к рассказу Л. Н. Толстого „Люцерн“.

1. Сопоставьте впечатления автора от природы и людей, обитателей „Швейцергофа“.
2. Чем противоречила набережная красоте природы? Соберите контрастирующие черты.
3. Почему у автора на душе стало „холодно, сиротливо и тяжко“?
4. Проследите подробно, в чем сказалось „живительное“ действие музыки на автора.

5. Как объяснить, что никто из „элегантной публики" не бросил копейки певцу?

6. Разберитесь в переживаниях автора после этой сцены. Что же он, наконец, „понял"?

7. Выясните социальные причины рассказанного Толстым случая.

8. Что роднит природу с музыкой и песней странствующего тирольца? С другой стороны, что объединяет впечатления автора от набережной, обеда в гостинице, элегантной публики и английского семейства?

9. Какими приемами художественного слова автор выразил эту контрастность (свою симпатию и антипатию)? Выберите в две группы наиболее характерные в этом отношении выражения.

---

21. * * *

Стоит среди полей обнесенный стеною чугуннолитейный завод с непереставая дымящимися огромными трубами, с гремящими цепями, домнами, с подъемной железной дорогой и раскинутыми домиками заведующих и рабочих. На заводе этом и в шахтах его, как муравьи, копаются рабочие люди; одни на 100 аршин под землею, в темных, узких, душных, сырых, постоянно угрожающих смертью проходах, с утра до ночи или с ночи до утра выбивают руду; другие в темноте, согнувшись, подвозят эту руду или глину к дудке и везут назад пустые вагончики и опять наполняют их, и так работают по двенадцати, четырнадцати часов в день всю неделю.

Так работают в шахтах. На самой домне работают одни у печей при удушающей жаре, другие — у спуска растопленной руды и шлака, третьи — машинисты, кочегары, слесаря, кирпичники, плотники — в мастерских, также по двенадцати, четырнадцати часов всю неделю.

По воскресеньям все эти люди получают расчет, моются а иногда и немытые напиваются в трактирах и кабаках, со всех сторон окружающих завод и заманивающих рабочих, и с раннего утра в понедельник опять становятся на ту же работу.

Тут же около завода мужики пашут на измученных, захудалых лошадях чужое поле. Мужики эти встали на заре, если они не провели ночь в ночном, т.-е. не ночевали у болота — единственное место, где они могут накормить лошадь, встали они на заре, приехали домой, запрягли лошадь и, захватив краюху хлеба, поехали пахать чужое поле.

Другие же мужики тут же, недалеко от завода, сидят на шоссейной дороге, пригородив себе из рогожи защиту, и бьют шоссейный камень. Ноги у этих людей избиты, руки в мозолях, все тело грязно, и не только лицо, волосы и борода, но и легкие их пропитаны извес ковой пылью.

Взяв из неразбитой кучи большой неразбитый камень, люди эти, укладывая его между обутыми в лапти и обмо-

танными ветошками ступнями ног, бьют по камню тяжелым молотом до тех пор, пока камень рассядется, берут разбитые куски и бьют по ним до тех пор, пока и эти не разобьются на маленький щебень; и опять берут целые камни и опять с начала... И так работают эти люди от утренней летней зари до ночи — 15, 16 часов, отдыхая только час—два после обеда, и два раза, в завтрак и в полдень, подкрепляют себя хлебом и водою.

И так живут все эти люди и в шахтах, и на заводе, и пахари, и каменобойцы—с молодых лет и до старости; и так же живут в непосильных трудах их жены и матери, наживая маточные болезни; и так же живут их отцы и дети, плохо накормленные, плохо одетые, в сверхсильной, губящей здоровье работе с утра и до вечера, с молодости и до старости.

А вот мимо завода, мимо каменобойцев, мимо пашущих мужиков, встречая и обгоняя оборванных мужчин и женщин с котомками, катится, позвякивая бубенцами, коляска, запряженная одномастной гнедой четверней пятивершковых коней, из которых худший стоит всего двора каждого из любующихся на эту четверню мужиков. В коляске сидят две барышни, блестя яркими цветами зонтиков и лент и перьев шляп, стоящих каждая дороже той лошади, на которой пашет мужик свое поле; на переднем месте сидит блестящий на солнце галунами и пуговицами офицер в свеже-вымытом кителе; на козлах грузный кучер в шелковых синих рукавах рубахи и бархатной поддевке. Он чуть не задавил богомолок и не сбил в канаву проезжавшего порожнем мужика в его испачканной рудою рубахе, трясущегося на телеге.

— А это не видишь? — говорит кучер, показывая кнут недостаточно скоро свернувшему мужику, и мужик одной рукой дергает за вожжу, а другой испуганно снимает шапку с головы.

За коляской беззвучно несутся, блестя на солнце никелированными частями машин, два велосипедиста и одна велосипедистка и весело смеются, перегоняя и пугая крестящихся богомолок.

Стороной же от шоссе едут два верховых: мужчина на английском жеребце и дама на иноходце. Не говоря о цене лошадей и седле, одна черная шляпа с лиловой вуалью стоит два месяца работы каменобойцев, а за стик-хлыст, модный английский, заплачено столько, сколько получит в неделю подземной работы тот малый, который идет довольный тем, что нанялся в шахты, и сторонится, любуясь на гладкие фигуры лошадей и всадников и на жирную иноземную огромную собаку в дорогом ошейнике, бегущую с высунутым языком за ними.

Неподалеку за этой компанией едут на телеге улыбающаяся, с завитыми кудряшками, нарядная девица в белом

фартуке и толстый румяный мужчина с расчесанными бакенбардами, с папироской в зубах, что-то нашептывающий девице. В телеге видны самовар, узлы в салфетках, мороженица.

Это — прислуга людей, едущих в коляске, верхом и на велосипедах. Нынешний день не представляет для них ничего исключительного. Они живут так все лето и почти каждый день делают прогулки, а иногда, как нынче, — с чаем, напитками и сладостями, с тем чтобы есть и пить не в одном и том же, а в новом месте.

Господа эти — три семьи, живущие в деревне и на даче. Одна семья помещика, владельца 2000 десятин земли, другая — чиновника, получающего 3000 рублей жалованья, третья — самая богатая семья — дети фабриканта.

Все эти люди нисколько не удивлены и не тронуты видом всей той нищеты и каторжного труда, которые окружают их. Они считают, что все это так и должно быть. Занимает их совсем другое.

— Нет, это невозможно, — говорит дама верхом, оглядываясь на собаку, — я не могу видеть этого.

И она останавливает коляску. Все говорят вместе по-французски, смеются и сажают собаку в коляску, и едут дальше, застилая облаками известковой пыли каменобойцев и прохожих по дороге.

И коляска, и верховые, и велосипедисты промелькнули, как существа из другого мира, а заводские, каменобойцы, мужики-пахари продолжают свою тяжелую, однообразную, чужую работу, которая кончится вместе с их жизнью.

„Живут же люди", думают они, провожая глазами проехавших. И еще мучительнее представляется им их мучительное существование.

Л. Толстой.

---

22. Примерный план для доклада „Биография писателя".

1. Когда родился?
2. Где? (Столица, провинциальный город, деревня, усадьба, фабрично-заводский поселок; значение природы и бытовой обстановки.)
3. Детские годы (семья, ее экономическое положение, сословие и класс, культурный уровень, преобладающее влияние — родители, няня и проч.; игры, ученье, товарищи, особенно яркие впечатления; задатки и способности; характер).
4. Школа (где учился, характер ученья, учителя и товарищи, интересы, чтение).

5. Школа жизни („в людях": жизненные встречи и знакомства; выработка убеждений).

6. Первые литературные шаги (литературные подражания, удачи и неудачи; встреча критикой и читателем).

7. Творческий путь (о чем писал? темы и главнейшие произведения; кому из своих героев симпатизирует автор? интересы какого класса он выражал?).

Итоги жизни и творчества (оценка современниками и посмертная; чем ценен писатель для нашего времени?).

Распределивши работу по группам, дайте чью-нибудь биографию — А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова и М. Горького.

Для Пушкина: Памятка о Пушкине. Ленинград. Изд-во книжного сектора губоно. 1924. Здесь хронологическая канва жизни и творчества Пушкина, очерк жизни и творчества, Пушкин и правительственная власть. Сост. Б. Томашевский и В. Максимов-Евгеньев.

Пушкин. Очерк жизни и творчества. Труды Пушкинского дома. Л. 1924.

Стоюнин. Пушкин. Изд. 2-е. 1906.

Для Некрасова: В. Евгеньев-Максимов. Жизнь и поэзия Некрасова. Изд. Пет. отд. Гиз. 1921 г.

Его же. Некрасов. К столетию рождения. Жизнь, поэзия, программа чествования, текст избранных произведений Гиз. П. 1921.

Розанов, И. Н. Н. А. Некрасов. Жизнь и судьба. „Колос". 1924.

Вал. Полянский (П. И. Лебедев). Н. А. Некрасов. Гиз. П. 1921.

Для М. Горького: Груздев, И. А. Жизнь и приключения Максима Горького (по его рассказам). Рисунки Н. Тырсы. Гиз. 1926.

Груздев, И. А. Максим Горький. Биографический очерк. И-во Кубуч. Л. 1926.

М. Горький. „Детство". „В людях".

Б.

1. Узник.

Сижу за решеткой темницы сырой.[1]
Вскормленный на воле орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: „Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора,
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем... лишь ветер да я!..“[2]

А. С. Пушкин.

1822.

---

1. Судя по вариантам, что́ изменил поэт в первоначальном замысле?
2. Где определеннее выступают автобиографические черты—в вариантах или в окончательной редакции?
3. Поручите кому-нибудь из товарищей представить доклад об автобиографическом значении этого стихотворения (прочтите соответствующие места в биографии поэта; найдите в письмах поэта 1822 г.: к брату от 24 января, 21 июля, 6 октября; к Катенину от 19 июля, к Толстому от 26 сентября — выражение желания свободы и надежды на скорое освобождение).

---

[1] В записной книжке поэта находим следующие варианты:

(Гляжу я в окошко темницы сырой)
И тихо, и грустно в темнице глухой.
Пленен, обескрылен, орел молодой,
Мой верный товарищ в изгнаньи моем...

[2] Он вымолвить хочет: „Давай улетим!

„Давай встрепенемся! Пора нам, пора!
„Острог нам — не ближний, тюрьма — не сестра,
„Мы — вольные птицы, ты, брат мой, и я,
„Где сокол летает, там наша семья!“

2. Задания к поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри".

1. Разберитесь в тех мотивах, которые побудили Мцыри бежать из монастыря.

2. Что значило для Мцыри „жить"?

3. Как Мцыри воспринимал природу? Какие чувства и воспоминания она в нем разбудила?

4. Проследите последовательно всю смену чувств, мыслей и желаний, пережитых Мцыри „на воле". (Что вызвало эти переживания? С какой силой и в чем они проявлялись? Чем объяснить такую напряженность душевной жизни Мцыри?)

5. Почему автор оборвал жизнь Мцыри? Мог ли он снова „жить" в монастыре? Какое значение имели для него эти три дня?

6. Разберитесь в подробностях сопоставления, данного в XXI главе. Какой свет оно бросает на судьбу Мцыри и на художественный замысел поэта?

7. Какая поэтическая антитеза проходит через всю исповедь Мцыри? Ср. стих. „Парус" Лермонтова.

8. Что в образе Мцыри можно объяснить наследственностью, обстановкой, возрастом, предсмертной исповедью и что художественным замыслом автора?

---

1. Выделите пейзажные зарисовки и разберитесь в их поэтических красках.

2. Выпишите зрительные (цветовые) образы поэта, олицетворения, сравнения (что с чем сравнивается? Что достигается таким сравнением?).

3. Определите размер стиха, каким написана эта лирическая поэма. Не найдется ли стихов, нарушающих строгую выдержанность метрического ударения? Нет ли пиррихиев [⏑ ⏑]?

4. Чем отличается размер и чередование рифмы в песне рыбки? Зачем автор внес эти изменения? Отметьте в песне строфу, где Лермонтов применил „влажную" (его собственное выражение) рифму на „ю"? Производит ли она на вас такое впечатление в этом месте?

---

3. Задание.

Прочтите „Рассказ о кандалах" Н. Ляшко.

1. Проследите всю историю кандалов (отметьте по рассказу главные этапы их жизни; как и чем была связана с ними судьба людей? Перечислите этих последних).

2. Когда и сколько раз з в е н е л и кандалы? О чем говорил и к чему звал их звон? Какое производил на разных людей впечатление и почему? Друзья и враги кандалов.

3. Кто главный герой рассказа?

4. Расскажите биографии Матвея и его сына Алексея. Как переплетаются их жизни и какую роль сыграли кандалы? (Почему старик пожелал иметь кандалы сына? Какие воспоминания они в нем пробуждали? Почему он поставил кандалы к книгам Алешки?)

5. Что вы узнаете из рассказа о жизни рабочих? (отношение их друг к другу и к администрации, выдающиеся моменты жизни, пробуждение классового сознания).

---

1. Разберите VI гл.: на какие части она распадается, как и почему эти части связаны в одну главу?

2. Выделите в рассказе описание главной мастерской; каким рисуется автору этот машинный мир? Отметьте олицетворения, сравнения, образные выражения действий, звуков.

---

1. Связывается ли порыв к свободе в стих. Пушкина и Лермонтова с борьбой за определенный общественно-политический порядок?

2. Сравните в этом отношении произведения Пушкина и Лермонтова с рассказом Ляшко.

3. Прочтите автобиографию Ляшко и биографии Пушкина и Лермонтова и объясните, как отразилась классовая психология авторов на изображении мотива свободы. (Какая взята ими жизнь? Какими средствами, индивидуально или коллективно и против кого идет борьба? К чему она ведет?)

4. Сравните приемы поэтической изобразительности (образы, язык).

---

4. Автобиография Н. Н. Ляшко [1].

Н. Н. Ляшко родился в 1884 г. в гор. Лебедине, Харьковской губернии. Отец — николаевский солдат, мать — крестьянка. Окончил церковно-приходскую школу. Одиннадцати лет попал в Харьков, где работал в качестве мальчика в кофейной, в качестве ученика на кондитерской фабрике, затем на машиностроительных заводах. В Харькове же окончил ученье на паровозостроительном заводе по токарному отделению механического цеха (по металлу).

Работал на заводах Харькова, Николаева, Севастополя, Ростова-на-Дону и др. С 1902 года вошел в движение, сидел в тюрьмах Ростова (1902 и 1905 гг.), Севастополя (1903 и 1904 гг.), Харькова (1905 г.), Черкас (1907 и 1908 гг.), Москвы (1912 г.), Пятигорска (1914 г.). Дважды отбывал ссылку: в Олонецкой и Вологодской губерниях. Был под судом, отбывал крепость и проч.

„Еще в пору ученичества на кондитерской фабрике и машиностроительных заводах, — пишет Ляшко, — любовь к книге при помощи воскресной школы Хр. Алчевской (Харьков) и рабочих курсов стала оформляться: я отказался — при выборе книг — от услуг библиотекарши и пользовался каталогом самостоятельно. К семнадцати годам, после Жюля Верна, Майн-Рида, Дефо и пр., мною прочитаны были часть Л. Толстого, весь Достоевский, рассказы и повести Короленко, Чехов, Гоголь, Пушкин, Лермонтов. С последними тремя был знаком и раньше.

Из научных книг на меня впечатление произвели книги Рубакина, Лункевича, а впоследствии Тендаля „Звук“, Лапласа „Теория строения мира“. К этому времени относится

---

[1] Из книги Л. Клейнборта „Очерки народной литературы“. Л. 1924.

мое знакомство с произведениями Шпильгагена, Золя, Шевченко, „Искорками“ Рубакина—с одной стороны, прокламациями, подпольными листовками (и попутно с живыми участниками подполья) — с другой.

Если не ошибаюсь, в 1901 г. у меня было первое свидание с представителями харьковской подпольной организации, после которого я стал участником подпольного кружка, наполовину состоявшего из моих сверстников, учеников токарного отделения механической мастерской Харьковского паровозостроительного завода. С этого момента на помощь мне приходят Липперт[1], Дарвин, Маркс. Брат, работавший на том же заводе, его товарищи, старые рабочие, проходят ту же школу. К половине 1902 года кружковая работа прекратилась. Было тесно, душно. Придравшись к ссоре с начальником мастерской и мастером, я взял расчет тайно (иначе мать, брат и невестка воспротивились бы), уехал из Харькова и начал самостоятельную жизнь.

Наиболее значительными явлениями до отъезда из Харькова были: а) первое мая 1901 года; впервые увиденное мною красное знамя, с которым два завода — Бельгийский и паровозостроительный — двинулись к Конной площади; встреча на заводе Бельгийском с токарем, который отказался дать мне прокламацию и доказывал, что „для этого“ я еще мал; б) свидание с представителем подполья и его разговор со мною, носивший характер экзамена; в) первое мая в Харькове на паровозостроительном заводе и речь князя Оболенского (губернатора) перед нами: „бог землю не уровнял: есть долины, горы и холмы, а вы хотите быть равными...“ В наших требованиях ни слова не было о равенстве...

Из произведений литературы на меня производят в это время впечатление: Еж „На рассвете“, Золя „Углекопы“, Короленко „Сон Макара“, Елпатьевский „Гектор“, Рубакин „Митрошкино жертвоприношение“, Некрасов „У парадного подъезда“, Мельшин „Из мира отверженных“ и его же стихи[2].

Сознание, что писать могу и я, зародилось во мне, во-первых, в воскресной школе, где изредка ученикам задавались работы на темы „Как я провел воскресенье“ и т. д.; во-вторых, после прочтения мне одним из товарищей, токарем, своей рукописи. Писать я начал в 1902 году после отъезда из Харькова. Писания мои носили характер записок из рабочей жизни с идейным содержанием. О печатании написанного я не помышлял. Судьба написанного чаще всего

---

[1] Его „История культуры“.

[2] Стихи печатались за подписью П. Я. Настоящая фамилия—Якубович. Был членом партии Народной Воли, сослан в 1884 г. в Акатуйскую каторгу.

была печальной: обыск, арест, и оно гибло в шкафах жандармских управлений. Или в тюрьме начальство отбирало.

Осенью 1904 года, как малолетний, я был амнистирован и возвращен из ссылки Олонецкой губернии. Под девятое января 1905 года я уже был в Харьковской губернской тюрьме; а в марте—воля,—и я в Ростове-на-Дону. Здесь один из партийных товарищей ознакомился с некоторыми из написанных мною в ссылке и тюрьме рассказов и отнес некоторые из них в редакцию газеты „Донская Речь". Вещица „В местах не столь отдаленных" была напечатана. Затем было напечатано „В ночную смену" и еще что-то... В конце 1905 года я перекочевал в Киев и печатался в „Южной Неделе", в „Южном Голосе". Один из рассказов, не помню, каким путем, попал в „Полтавщину". Посылал я свои вещи в центр, но оттуда всегда отвечали загадочно и кратко: „недостаточно художественно", „не подходит". Исправления моих вещей провинциальными редакциями вначале меня озадачивали, потом начали удивлять, наконец, раздражать, и я перестал писать: выходило, пишу я, но в то же время и не я. „Пишите лучше сами", решил я.

Однако, в 1908 году, в тюрьме, а затем в ссылке 1909 — 1911 гг. (Вологодка) я понял, почему мои вещи исправлялись, и ряд лет с остервенением боролся с языком. То, что теперь начинающие рабочие и крестьяне в области техники получают в различного рода кружках и студиях без труда, в прошлом нашему брату давалось огромным напряжением. В деле помощи со стороны развитых людей мне не везло. „Не до писаний теперь, бросьте", говорили они. И я охладевал к своим опытам...

В 1912 году после ссылки я присутствовал на редакционных собраниях московского журнала „Народная Семья", объединившего некоторых писателей из народа. То, что я услышал там, а равно нападки на интеллигенцию (всю без разбора) со страниц „Народной Семьи" оттолкнули меня от этого кружка. Однако, и пребывание вне близкого по духу литературного кружка угнетало меня. В половине 1913 года я начал вести работу среди литературной молодежи из народа в направлении создания идейного дешевого журнала. К осени 1913 года образовалась группа, а в ноябре на товарищеских началах вышел журнал „Огни". Для других это был журнал дешевый, подписная плата 65 коп. в год, литературно-общественный, доступный широким слоям трудящихся. Для себя, т.-е. группы „Огни", стоявшей за журналом, „Огни" — это был орган социалистический, рабочий, вскрывающий всю лживость буржуазных листков. В группу входили Ширяевец, Поршаков, Ив. Морозов, Устинов, С. Обрадович, В. Кузьмин, П. Низовой, Н. Рогожин... На пятом номере „Огни" были конфискованы; было возбуждено

преследование по двум пунктам 129-й статьи; меня, как фактического редактора, арестовали и приговорили к двум годам крепости. В дешевой столовке состоялось собрание „Огней“, и они закрылись.

В 1918—1919 гг. посещал собеседования московского Пролеткульта. Из последнего вышла группа „Кузница“, в члены которой я в 1920 году и был кооптирован“.

---

5. В купели чугуна.

От хат соломенных селений,
Где жизнь смирением горда,
На грозный зов сиренных пений
Пришли в стальные города.

Был каждый в пламя горна брошен,
Кипящей сталью опален,
Кандальным звоном обострожен,
Железным пеплом опылен;

Обвенчан факелом завода,
Его зарницей озарен,
Обласкан музыкой приводов,
Орлиной дробью шестерен;

Обрызган искрами металла,
Крещен в купели чугуна,
И вот осталенною стала
Златосоломная струна.

Как сон, смиренная забыта
Преклонно-выйная межа;
Душа горящая облита
Звенящим валом мятежа.

Завод, как водопад жестокий;
Струится медь, чугун, руда,
Электропламенные токи
В стальные мускулы труда.

Стал каждый пламенным баяном
Кующих звонов, красных струн,
Грозово вскрыленным титаном,
Зари грядущего трибун.

Михаил Герасимов.

---

1. Почему так озаглавлено стихотворение?
2. Проследите, как проведена эта метафора в образах стихотворения, и раскройте их реальный смысл.
3. На каком контрасте построен метафорический смысл стихотворения в целом? Какие два класса и, следовательно, две психики здесь противопоставляются?
4. Выделите словесные образы (эпитеты, метафоры, символы), рисующие эти две психики в их контрастности, и определите основной характер каждой группы.
5. Выпишите глаголы с приставками *о, об.* Какие из них старые, употребительные, и какие новые? Какой общий смысл имеют эти глаголы благодаря общей приставке? Какой общий смысл вносят глаголы в картину поэта? В каких строфах сосредоточены эти глаголы? Почему в них?

6. Проследите, как совершилось перерождение „златосоломной струны" в стальную, и в свете этого перерождения подробно проанализируйте заключительную строфу стихотворения.

7. Сопоставьте его с рассказом Ляшко („Рассказ о кандалах"). Какая строка стихотворения приводит на память этот рассказ? Отметьте сходное в их содержании. Уясните различие в эпической и лирической форме его выражения.

---

6. Задания к рассказу А. Яковлева „Порывы".

1. Прочитайте рассказ Яковлева „Порывы" и дайте перечень массовых сцен из жизни заводских рабочих: сколько таких сцен вы выделите и как каждую из них озаглавите?

2. Выделите отдельных действующих лиц из рассказа и распределите их на главных и второстепенных.

3. Выделите сюжет рассказа и проследите, как он развертывается. Набросайте в письменной форме основные этапы в развитии сюжета.

4. Федька и Павел: выясните роль того и другого в жизни заводских рабочих, а равно и отношение к тому и другому разных слоев рабочих.

5. Как характеризует конец рассказа главных действующих лиц его?

6. К кому из действующих лиц должно быть отнесено заглавие рассказа?

---

7. Кузнец.

Искры, точно золото,
Брызжут из-под молота,
В горне вихрь поет.
Нет в руках усталости,
Нет к железу жалости,
Бьет.

Молодость мятежится,
Сердце счастьем нежится,
Брагу жизни пьет.

Звеньев лязг взвивается,
Это разбивается
Гнет.

Взгляд горит решимостью,
Злой неутомимостью,
Сам себя он жжет.
Руки молот стиснули,
Руки взмахом свистнули,
Бьет.

В. Александровский.

---

1. Каким размером написано стихотворение?
2. Где резко нарушен господствующий ритмический лад?
3. Что достигается этим нарушением?
4. Сравните с стихотворением Самобытника „Новому товарищу" в отношении метрики и содержания.

---

8. Задание.

I.

Прочтите из романа М. Горького „Мать“ 26—27 главы о Первом Мая, где изображена первомайская демонстрация сормовских рабочих в 1902 году.

1. Проследите настроение Павла, Хохла и матери в утро 1 мая.
2. Отметьте разные группы и их отношения к демонстрации.
3. Значение и смысл речей Павла, Хохла, а также организующее значение песни.
4. Чувства и думы матери.

Темы:

1. 1 мая в нашей школе. (Дать образное описание подготовки к празднованию этого дня, картины шествия, лозунги, впечатления.)
2. Наш город в день 1 мая (убранство, утром, колонны рабочих, на площади, вечером; картинки, диалоги, ораторы и их речи, общее впечатление).

II.

Выберите из сборников первомайских стихотворений наиболее понравившиеся, выпишите яркие изречения и иллюстрируйте их.

Составьте поэтический словарь на тему о 1 мая (какими эпитетами характеризуется этот день? С чем сравнивается? и т. д.). С этой целью проработайте, напр., „Первомайскую хрестоматию“, составленную С. Валк и А. Шиловым (или другие сборники).

---

9. Гудки.

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе.
Это песня будущего.
Мы когда-то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.
А теперь утром в восемь часов кричат гудки для целого миллиона.
Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.
Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.
Первые наши удары гремят вместе.
О чем же поют эти гудки?
— Это утренний гимн единства.

А. Гастев.

---

10. Дома.

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и он.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У него было молодое, строгое и безусое лицо. Он сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, он сказал:

— Что же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

— Нет... никого... потому, собственно, погода, и народ занятой...

И, хотя был очень молод, он сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на него. Он сказал:

— Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

— Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а не отрываясь глядели на него. А он говорил, говорил, говорил.

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое, пузырившееся тесто.

„Ах, ты, господи, кабы дети не проснулись!...“ — шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не разбирала, о чем шла речь, без толку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что он сейчас скажет: „бабу повесить у притолки, а ребят в лежанку головой...“ И хотя он этого не говорил и, она знала, не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: „будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...“

Но он и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда он к ним обращался: — не так ли, товарищи? — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верно... это так.

Они робели перед ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескал дождь.

И, когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

— Вась, а Вась?... кабы беды не нажить?... сицилист, вить... мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок:

— Молчи, ничего не понимаешь.

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем, все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока он говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых вон неси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену, и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась, боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно — привычно, и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, опять работа, ребятишки, забота... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

— А в тюрьму хочешь?!..

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

— Вась, а Вась?... говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумятремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

— Вась, кабы беды не нажить... не ровен час... у Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ей богу!...

Жандармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как перед истинным!...

— Много ты знаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно было, а полежал молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

— Они — благодетели наши... а то как же?... что я понимал! пень бессловесный, больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу. От синей полосы лунного света по всей комнате лежали длинные, ломаные, уродливые тени.

— Блох ноне множество.

Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

— Главное, понять... нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... все одно, как пьяницей сделался, не оторвешься. Никак кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса попрежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, перерезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над ключицами. Жена глядела на него, и тонкая щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека:

— Вась, а Вась... худой ты...

Марья стала разбираться. Она понимала, что „эксплуатация“ значит — хозяева мучат, что „прибавочная стоимость“ — это что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и неизвестное, и все это поражало остротой новизны, и несло в себе зерно муки и погибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, неземной, но радостной, легкой и справедливой жизни, а когда оставалась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

— И чего зря языками болтают. Так, нивесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? а кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

— И не говори!.. вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... дотрезвонятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом, и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрятывала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к про-

курору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и, когда приходила на свидание в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик, или пирожок, или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала, как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась, как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него:

— Вы погубители наши!.. вы кровососцы... будь вы трижды прокляты!.. и чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах— ненависть. При одном имени: жандарм — она трепетала от злобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью.

А. Серафимович.

(Из сборника „Живая тюрьма".
Рассказы 1905 г. М. 1924 г.)

---

1. Какой момент из жизни и борьбы рабочего класса взят в рассказе?
2. Кто это *он*? Почему о *нем* говорится в такой местоименной форме?
3. Как к *нему* отнеслись рабочие и в частности муж Марьи?
4. Какую роль сыграли *они* в революционизировании рабочих? Как об этом говорит муж Марьи? В какой степени это коснулось и самой Марьи?
6. Что вызвало и укрепило революционное настроение в Марье?

---

11. * * *

Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью.

И среди каменных громад, среди заботливо-равнодушно торопящейся по тротуарам публики, над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось:

— ... рабочий народ!...

И гордо, и чуждо неслись эти крики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово сосредоточенно шли старики, быть может, все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырьки, сапоги бутылкой, пиджаки, черные пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон, и, местами покрывая, веселыми взрывами вырывался смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

— „Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-и-ры...“ и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

А. Серафимович.

(Из рассказа „Похоронный марш“.
См. Сборник „Живая тюрьма“.
Рассказы 1905 г. М. 1924.)

12. Дерзости слава.

Жить в потемках мы устали,
Мы проснулись, мы восстали—
Слишком долго боя ждали,
Жаждем жизни молодой.
Прочь беспомощные страхи,
Глубже взгляды, шире взмахи,
Больше дерзости святой!

Много надо рук упорных,
Чтоб из глыб слепых и черных,
В наших домнах, в наших горнах
Полосой сверкнул металл.

Больше страсти, больше жару,
Подставляйте грудь пожару,
Чтоб металлу дать закал.

Выше факел подымайте,
В душах пламя зажигайте,
Ошибайтесь, но дерзайте:
Пролетит веков гряда —
Только то, что силой взято,
Будет живо, будет свято,
Будет взято навсегда.

Е. Тарасов.

1905 г.

---

1. Какой звук преобладает в этом стихотворении?
2. Соответствует ли этот прием инструментовки эмоциональному настроению, которым насыщено стихотворение?
3. Какие социальные явления вызвали данную эмоциональность?

---

13. Недавние дни.

Ленин.

Из аппаратной, где хрипели Юзы и Морзе, Ленин прошел в свой маленький кабинет. Сел в кресло и мелким бисером на квадратике бумаги написал:

Тов. Дзержинский, я согласен. Договоритесь окончательно с Яковом Михайловичем[1]. Необходимо: 1) проделать всю операцию в кратчайший срок, 2) о деталях условиться с военными властями, 3) провести это завтра на Полит-бюро.

С коммунистическим приветом Ленин.

Нажал кнопку. Вошел секретарь — молодой рабочий с простым и строгим лицом. Ленин сам запечатал записочку и передал ее секретарю. Потом, через другую дверь, вышел к телефонной будке. Говорил с Арзамасом. Слышалось только: „А что? Allo! Центр города еще в наших руках? Что в наших? Слышу, слышу. Центр еще держится? Рабочие вооружены? Allo! С какой стороны? Лаишева? Хорошо. Звоните еще часа через два. До свиданья."

---

[1] Я. М. Свердлов.

И опять через свой кабинет прошел в аппаратную, где хрипели Юзы и Морзе...

А в Лаишеве уже вешали „за большевизм“, расстреливали, топили, пороли, отрубали уши...

А в Казани в номерах бывших Щетинкина по коридорам подходили друг к другу, советовались, как быть со штабом и золотом. Одни терялись. Другие ободряли.

А с Порохового, Алафузовского и Крестовникова заводов двигались темно-синие колонны рабочих к Казанской крепости.

И в Нижнем-Новгороде собирали огромные „Ильи Муромцы“ для полетов над Казанью и Самарой.

А у Московского Совета на площади стоял полк рабочих и красноармейцев, готовых к отправке на фронт и ждущих Ленина.

Звонили ему по телефону, он обещал, а все не ехал. Андронников, который отправлялся на фронт во главе этого отряда, взял автомобиль во дворе Московского Совета и переулками, чтоб не расстроить ряды полка, выехал в Кремль.

При самом въезде в Кутафью башню он чуть не столкнулся с автомобилем, в котором на правой стороне, привалясь немного к боку, в угол, сидел Ленин в помятой черной шляпе. Увидев Андронникова, Ленин в момент перекинулся на другую сторону автомобиля и крикнул:

— Вы за мной? Я еду, еду.

Автомобили разминовались, но Ленин задержал свой, и Андронников, догнав его, пересел к Ленину.

Андронников видел перед собой песчаного цвета лицо, морщины, расходящиеся от носа, словно высеченные по камню, зрачки черные и огненные.

Лицо такое простое. Если бы не глаза, то даже скучное. А в глазах есть противоречие: они и добрые и строгие, но под добротою и под строгостью где-то глубоко таится смех. Такой веселый, солнечный, как у Пана[1]. Но это самое: и доброта, и строгость, и смех, и ум, сливалось вместе во что-то особенное и вместе с тем простое человеческое. Этим особенным и простым человеческим Ленин словно обнимал Андронникова.

Вот именно от этой необыкновенной обыкновенности Ленина Андронников всегда становился втупик, когда его спрашивали: „А каков Ленин сам по себе?“

Помятую шляпу свою Ленин прихлопнул на самые уши, чтоб не сдуло, и опять погрузился в правый угол автомобиля.

---

[1] Так назывался ласковый и причудливый греческий бог гор и лесов, хранитель стад, со звонкой свирелью, наводящий иногда ужас на людей (отсюда выражение — „панический“ страх). См. картину Врубеля „Пан“ (Третьяковская галлерея).

— Как, по-вашему, возьмут Казань или нет? — спросил он Андронникова.

— Едва ли. Удержим, — ответил Андронников.

— А как настроение?

— Да у нас хорошее настроение. Ребята понимают опасность.

Ленин сразу насторожился: прищурил немного левый глаз и приподнял правую бровь. Немного вбок, подставляя правое ухо, наклонился к Андронникову: если Ленин слушал, то всегда весь без остатка.

— Понимают, — говорил Андронников, — особенно рабочие. Впрочем, теперь и красноармейцы.

— А как относятся к созданию большой армии, настоящей?

— Хорошо. Ведь без этого не обойтись.

Автомобиль с переулка въехал во двор Совета.

Ленин из автомобиля, по привычке своей, словно вырвался, вбежал по лестнице и промелькнул в комнату президиума. Андронников не поспевал за ним.

Потом они оба вышли на балкон. Андронников был торжественен. Голубые глаза его блестели, все черты лица, слегка потемневшего от бессонных ночей и голодовки, стали более определенными и напряженными. Новая кожаная куртка „на рыбьем меху" — военная обнова — облегала его непривычно, неуклюже, но так блестела! Так хорошо, по-новому охватывала плечи, руки, грудь! И в душе Андронникова было большое обновление. Все вещи и люди перед ним были уже другими: свежими и новыми.

Рядом с ним стоял „Ильич" и, перегибаясь через перила балкона, поворачиваясь немного вправо и влево, произносил речь. Говорил, исторгая слова из самой глубины своей сущности, отчего и звук голоса был сочным, налитым той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные. А попадет это слово в сердце, раскусишь его, в нем ядрышко. И от этого горячего Ленина, от его изборожденного песчаного лица, от простых глаз, не то огненных, не то коричневых, от всей плотной фигуры, на Андронникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческому, по-родному. Будто это старший брат его.

Среди речи Ленина, Андронникову ударило вдруг в уши: „Дьявольски трудное дело управлять страной..." Неужели мы с ним и еще такие же управляем страной? — подумал Андронников. И вот такой, коричневый пиджачек на Ленине, помятая шляпа. А — власть!.. Все этакое родное, свое — и власть. Вспомнил Андронников, что металл так плавится: сначала горячий, мягкий, послушный ударам, согласный руке. А выплавится — станет холодный, режущий, всегда мощный,

непобедимый. Вот и власть так родилась из огня, из горяча. Потом охлаждается, чтоб быть непобедимой.

Ленин давно уже кончил. Говорил кто-то из полка, а в голове Андронникова все вертелось: „непобедимы, мы, мы, мы—непобедимы."

Тем временем на площади уже скомандовали строиться и уходить. Андронников, немного растроганный, взволнованный, сел в свой автомобиль.

— Товарищ, — спросил его шоффер, — а что, как Владимир Ильич, вообще, так вообще, человек какой?

— Как и все: обыкновенный.

— Нет.

— Почему же „нет"?

— Да потому что нет!

Вечером у приятелей городского района были проводы Андронникова.

За грязным медным самоваром, пыхтящим посредине двух сдвинутых ломберных столов, сидело человек восемь. Был тут и Голубин, простой русский рабочий, был сам хозяин квартиры, типограф, сгорбленный, бледный, с клочковатой растительностью в разных местах исхудалого лица, и его жена, бледная женщина с черными глазами как уголья, всегда веселыми, дразнящими. Тут же сидел Резников. На кушетке развалились двое: один неопределенного возраста, еврейского типа, немного раскосый, немного грязный и поддергивающий брюки обоими локтями рук, рядом с ним латыш с грустными глазами и с правильно скучным лицом, как большие камни мостовой. Первый, грязноватый, держал латыша за обе пуговицы пиджака и, казалось, для вящшего доказательства собирался нырнуть головой ему за пазуху. Немного боком к ним сидела стриженая девица в синем платье и синем пенснэ, Несмелинская. В отдалении, хихикая неизвестно отчего, жались друг к другу две блондинки, почти девочки, работницы; у обеих подвязанные веревками мягкие туфельки, выкроенные из старой юбки.

Посреди комнаты прохаживался Бабаев в черной рубашке, одна рука за поясом, другая в глубине косматого затылка. Поодаль от стола, ближе к окну, молча и сосредоточенно возился Бертеньев; он старался извлечь из угла, заваленного старыми книгами, сапогами, двумя винтовками и еще какими-то ремнями, похороненное там пианино.

Когда Андронников вошел, Бабаев говорил: „Все это так, но зачем же опять протекция, волокита... А-а!.. Михаил Иванович! Наше вам! Вместе видно поедем?" — обратился Бабаев, увидя Андронникова.

— Нет, брат, — опять начал Бабаев, обращаясь к хозяину квартиры, типографу, — суть в том, что мужичок не дурак и понял, кто против него, и понял большевиков.

— И видать, что здорово понял, — возражал бледный типограф, — коли на Сухаревку с мешками едет, да еще какой? — самый беднейший.

— Не в том суть! это по нужде, а не по душе. По душе он с нами, а по нужде мы сами не с ним и неумело подошли к нему.

— Все „неумело“. В семнадцатом году слезные прокламации ему писали, подвозите, мол, к станциям хлеб, умираем, а он к нам спиной. „Неумело“, скажешь?.. Потом стали собирать — прячет, опять должно быть „неумело“. Что ни делай—ему все „неумело“ будет.—Бледноликий типограф махнул рукой, не желая спорить — „себя расстраивать“. С малых лет он в городе, в типографии. И отец его тоже не выходил из московских подвалов. Поэтому типограф не долюбливал крестьян. Бабаев же, бобыль и бродяга, в жизни своей сталкивался беспрерывно с мужичком, находил в нем отзвук и братское отношение, поэтому загорелся весь:

— Неосмысленности, ты говоришь. Как буржуй рассуждаешь или помещик. Ну, разве это коммунизм в таком рассуждении? Мы с тобой без крестьян ничто... Понял?!

А от дивана, где сидели двое, слышен был запальчивый голос, в котором было много задорных ноток:

— Совнарком, конечно, не что иное, как пролетарский совет министров.

— Тогда Ц. И. К. — парламент, — отвечал латыш.

— И парламент и не парламент, надо мыслить диалектически. Мы марксисты.

Между тем, Бертеньев, Андронников да еще присоединившийся к ним Резников выволокли пианино из-под всякого хлама, обтерли пыль, от которой чихнули поочередно две жавшиеся друг к другу девушки.

— Я верю только в Ильича! После Брестского мира я приобрела к нему необычайную веру, — проговорила дедушка в синем пенснэ, Несмелинская, сидевшая на ручке дивана.

— Ильич?! Никто не говорит про это, — отозвался Андронников.

— Да уж и защитника крестьян нельзя отыскать большего, как он, — вставил Бабаев.

— Вот именно, — согласилась Несмелинская.

— Да только он их защищает особенно, с рабочей стороны он к ним подходит, — заметил Андронников, который пыхтел на четвереньках, поправляя педаль пианино.

— И совершенно верно... Вот что я могу рассказать вам, ребята, — Бабаев почему-то перетянул пояс потуже, разгладил пятерней лохматую бороду, колупнул еще раз в своем затылке, крякнул. — Ммда!.. Вот написал я раз к Ленину письмо. Не так, мол, надо подходить к крестья-

нину. И все, значит, по порядку ему изобразил. И то и это, и то и это, и все такое. Неправильно, мол, ты немного, Ильич, и так далее, и так далее. Прошло уже много времени. Перед самой моей поездкой на фронт, пошел я к Ленину. Тем наипаче, что мне было дано ответственное задание по части полковника Муравьева. Ммда! Пришел я к нему. Говорит он со мной о том, о сем, а о письме не напоминает. Что, думаю, за оказия! А у меня на конверте и расписка его есть. Неужто, думаю, не читал? Нет, наверно, мол, забыл, делов много. Неловко это мне маленько. Тем наипаче, что я там подробно о продовольственном деле писал. Выбрал я минутку среди разговора да и спросил: „А что, Владимир Ильич, получили вы мое письмо?“ — Он за столом посредине, я немного сбоку. Как он это сразу повернулся ко мне всем корпусом, кулаки в боки упер, а лицом-то ко мне близко-близко перекинулся через кресло, перекосился, знаете, как всегда на один глаз. — „Получил,“ говорит. — И откинулся опять назад, про другое ведет разговоры. А про письмо ни гугу. „Постой,“ думаю. Опять я выбрал минутку, и осторожно: „А вы... того, мол, читали?“ Опять одним глазом прищурился, другим как стрельнет. — „Читал,“ говорит, а сам опять о другом. Ничего, видно, не поделаешь. Не хочет говорить. Потом стал прощаться. И все: „товарищ Бабаев“, да „товарищ Бабаев“. — Видать, что-то еще хочет. А я ничего. Схватился уже за ручку двери, хочу отворить. Он меня за руку. — „Знаете, — говорит, — товарищ Бабаев, если вздумаете что написать, — буду рад. Ваши письма мне передадут прямо. Пишите обязательно“. Распрощались по-хорошему. Вот ведь какой он. Значит понял, что я ему дело писал.

Бертеньев опытной рукой попробовал клавиши на пианино и заиграл. Вся комната осветилась сразу, словно двойным светом.

„Управлять“ — значит „рука с рукою, мысль одна“, — подумал Андронников под звуки волнующей его музыки. „Все выше, все выше,“ твердил он сам себе неизвестно о чем.

А звуки лились, словно радовались своему воскресению из хаоса.

„Все смелее, смелее,“ твердил про себя Андронников неизвестно почему.

А за окном, не закрытым занавесками, притаилась тихая, черная московская улица. Тихая, черная, как лихая изменщица.

— Трррррр, трррр... — как бешеный ворвался телефонный звонок во все уши.

Андронников сидел близко к телефону.

— Слушаю, — сказал он.

— Где, в Басманном? — спросил он, встрепенувшись, и побледнел. — А-а. В Замоскворечье, у Михельсона?.. Сейчас еду.

Оборвались звуки музыки, звуки слов. Оборвались мысли и чувства.

Андронников, нахлобучив фуражку, впопыхах успел только сказать:

— Ленина... стреляли...

(Из повести „Недавние дни" — сборник „Две повести", 1923.) Александр Аросев.

---

1. Как проявляется отношение Андронникова к Ленину?
2. Отметьте места, рисующие портрет Ленина. Сравните данный литературный портрет с живописным.

---

14. Смерть вождя.

Я не забуду этот вечер.
Сумраком синим
Город густел.
Торопливо по линиям,
Как в бесконечность,
Бежали трамваи.
Шли люди,
И по всему городу
Мелко похрустывал снег.
В заводах
Кипела работа быстрая —
Разговаривали станки,
И шум густой приводных ремней
Наполнял корпуса.
Неудержимая жизнь текла,
Как бесконечности ровный поток.
Вдруг в 7 часов
На башне Кремлевской,
Вздрогнув,
Куранты оборвали звон,
Медным стоном всколыхнув синеву.
Звяканьем захлебнувшись,
Остановились трамваи на миг,
И пробегающий автомобиль
Головой глазастой
Уткнулся, рыдая, в сугроб.
На окраинах громко гудки взревели.

Толпами
Из корпусов фабричных
В ночь
Рабочие молчаливо прошли...
Веял тревогою ветер,
Над городом сумрак густел.
Только красноармеец,
На посту у ворот Кремля,
Вглядываясь в синеву,
Слышал —
Провода тоскливо гудели,
Казалось, пели похоронный марш, —
И настороженный
Крепче сжимал ружье.
В этот вечер
Умер рабочий вождь.
И вот на площади,
В возглавии могил,
Смертельной горечью синея,
Вырос
Вождя спокойный мавзолей,
И стало в нашем темном мире
Еще суровей и темней.

Г. Санников.

---

15. * * *

Умер Ильич, но идея прекрасная
Не умирает, а вечно живет.
Видите ль вы, как могучая, красная
Новая рать уж на смену идет.
Красное знамя все выше взвивается,
И с его смертью оно не падет,
Шире, багряней заря разгорается,
Миг — и свободное солнце взойдет.

Рабфаковка А. Егорова.

Темы:

1. В мавзолее Ленина.
2. Наш уголок Ленина.

---

16. Задание.

Прочтите рассказ А. Яковлева „Жгель".

1. В какой связи с содержанием рассказа стоит описание Жгели и характеристика жгелян в I главе?
2. Каким вырисовывается в рассказе Мирон Евстигнеич?
3. Обрисуйте отношения Мирона Евстигнеича к рабочим и рабочих к нему.
4. Как переживал Мирон Евстигнеич революцию?
5. Мирон Евстигнеич и Яков Сычев: история их взаимоотношений.
6. Как сказалась классовая психология Мирона Евстигнеича и Якова Сычева в вопросе о восстановлении работы фабрики?

---

1. Разбейте рассказ на ряд отдельных сцен с указанием места действия.
2. Выделите в рассказе массовые сцены и сцены, построенные на диалогах: в чем различие в построении тех и других сцен.
3. Отметьте особенности языка масс и отдельных действующих лиц рассказа: Мирона Евстигнеича, Якова Сычева и других.
4. Какими выразительными средствами языка пользуется автор рассказа для характеристики жгелян в целом и отдельных действующих лиц (Мирона, его жены, Яшки, жены Никифора, Палача и других)?
5. Отметьте народные слова и обороты в языке самого автора.

Тема:

Яков Сычев — красный директор фабрики.

---

17. Ручной лебедь.

Спозаранок
Мой рубанок,
Лебедь, лебедь мой ручной
Торопливо
И шумливо
Мною пущен в путь речной.
Плавай, плавай,
Величавый,
Вдоль шершавого русла,
Цапай, цапай
Цепкой лапой
Струи стружек и тепла.
Лебедь мчится,
И клубится
Шумный, шумный водопад,
И колени
В белой пене
Утопают и кипят.

В. Казин.

---

18. * * *

Стучу, стучу я молотком,
Верчу, верчу трубу на ломе,
И отговаривается гром
И в воздухе, и в каждом доме.

Кусаю ножницами я
Железа жесткую краюшку,
И ловит подо мной струя
За стружкою другую стружку.

А на дворе-то после стуж
Такая же кипит починка!
Ой, сколько, сколько майских
луж —
Обрезков голубого цинка!

Как громко по трубе капель
Постукивает молоточком,
Какая звончатая трель
Гремит по ведрам и по бочкам!

В. Казин.

19. Люблю.

Люблю я зарево вагранок —
В нем небо звездное ясней,
Люблю куски стальных болванок
Меж вальцев, превращенных
в змей.

Люблю, когда под паром молот
Сжимает сталь в снопах лучей,
Люблю ковать, силен и молод,
У пасти огненных печей.

Люблю парить в полете смелом.
Ведь я волен, ведь я ничей,
Железным извиваться телом,
Как домны, золотой ручей.

Люблю я труб заводских струны,
Гудок, будивший паром медь.
Я знаю, красный флаг коммуны
Над миром будет пламенеть.

М. Герасимов.

---

20. Песня маляра.

От солнца — жар.
От сердца — жар.
В груди весна бродила.
На крышу молодой маляр
Взбирался по стропилам.
Железа скрежет режет тишь.
Прорезы ждут замазки.
Кругом —
Так много ржавых крыш,
Готовых к перекраске.
— Эх, только б теплые деньки,
Работай без заминки...
Перекликаются гудки,
Сзывая на починку.
Прострекотал аэроплан
Над самой головою...
— А в доме сотни стен и рам
Повыкрашу зимою.
Не выдавай в работе, кисть,
Не прохудай, бадейка!
А жизнь,
Вот эту нашу жизнь
Закрасим
Комячейкой!..
От солнца — жар. От сердца —
жар.
В груди весна бродила...
На крышу молодой маляр
Взбирался по стропилам...

А. Жаров.

---

21. Марш.

(Из поэмы „Комсомолец".)

Нам не дано имен,
Детям станков и околиц!
Имя мое — легион!
Имя мое — комсомолец!
Жизнь моя — крепнущий свод.
Ну-ка,
Взорви, попробуй!
Сердце мое — завод,
Мозг мой — рабфак, учоба!
В схватке: ни шага назад!
Мира немые загадки
Молньями мыслей пронзят
Выродки ленинской складки!
Армия комсомолят
Это — даешь и баста!!!
Надо леса и поля
В руки стальные сграбастать!
Надо позицию звезд
Аэропланами вздыбить!
Парус крепи, матрос,
За океанские зыби!
Нам не дано имен,
Детям станков и околиц!
Имя мое — легион!
Имя мое — комсомолец!

А. Жаров.

Укажите в стих. № 17—21 темы (есть ли единство?); в каких образах воспроизводится природа? социальная обусловленность этих тем и образов; словарь и революционная эпоха; особенности построения (выделение из стиха отдельных слов в особую строку; повторы; реторический диалогизм; ритмика; инструментовка).

---

22. На пути.

Первое мая — для Митьки Баврина особенно счастливый день.

С утра ходил он в разноцветной толпе молодежи, пьяный от песен и музыки. А когда двинулись все под оглушающий марш на Красную площадь, присоединился к рабочей организации большого механического завода.

Лавина, сотни тысяч голов под красными знаменами, расклинила улицы города, выбивая гулким топотом ног отчетливый шаг по горбатой спине мостовой.

Первый раз не знал куда сунуться, покуда не услышал знакомый звонкий голос:

— Митька, Митька, ходи сюда.

Оглянулся: прямо перед ним, под большим полотном огромного плаката с изображением мускулистой фигуры рабочего в зареве восходящего солнца, стоял Тимка Телегин.

— Ты как здесь? — удивился Митька, обрадованный неожиданной встречей. — Тогда ведь в деревне остался?

— Фю-ю, — присвистнул Тимка, — хватился, я давно оттуда.

— Ко мне не зашел, небось?

— Да я заходил сколько разов, только мать сказывала — ты в приказчиках теперь.

— А ты?

— Учусь с ними вот. — Тимка кивком головы указал на ребят.

— На заводе?

— Ага. Тятька схлопотал, я слесарем буду, — похвастался Тимка.

Митька посмотрел на окружающую толпу ребят, стоявших в рядах, по его лицу забороздили морщинки, он хотел что-то сказать, но ряды колыхнулись и быстро двинулись вверх, мимо кремлевских стен.

Кто-то высоким и чистым голосом запел:

„Дружно, товарищи, в но-огу".

Тимка подхватил Митьку под руку и уже на-ходу, старательно выравниваясь с другими, сообщал:

— Пятый месяц учусь. Я теперь комсомол, у нас ячейка, тридцать человек. И все учимся. Мы по цехам: столярный, слесарный и еще механический. Завод — во какой: четыре корпуса в два этажа, три с половиной тыщи работают. Первый раз, когда пришел, оробел даже, боялся — в машину попаду. Трубы над заводом — закачаешься, высоченные. Смотришь, они на тебя валятся, честное комсомольское...

Тимка хотел продолжать, перебила музыка, два объединенных духовых оркестра заиграли „Интернационал".

Ряды, извиваясь, проходили площадью; тысячи рук выбросили вверх: фуражки, кепи, шляпы, и, покрывая все звуки, шарахнулось о древние поседевшие стены кремля всегда молодое и такое могучее, подмывающее — ура.

Шаркая по булыжнику, поднимая серую пыль, огибали высокие башни, спускаясь к набережной. Пошли вольготней; равнение в рядах соблюдалось плохо.

Тимка вновь принялся рассказывать.

— Ты чего, тарарыка, завели тебя, что ли? — заметил идущий позади старый седоусый рабочий. — Всю дорогу бубнишь. Смотри, язык не вывихни.

Тимка обернулся:

— Я так, Петрович, товарища встретил.

— Вижу, что так, не за деньги, — усмехнулся Петрович.

— С какого завода, молодец?

— Он не заводской, — поспешил ответить Тимка за товарища. — Учились вместе. Теперь торгует.

— Вот те на. Буржуй, значит.

Тимка захохотал:

— В точку, Петрович, дома жрать нечего, мать белье стирает, вот его купцу и сбагрили.

— Я — мальчиком, — пояснил Митька.

Покраснел и тут же решил: „Сбегу, ну ее к чорту, барахолку[1] эту, с хозяином вместе.“

Шедшие впереди знаменосцы свернули на чугунный мост.

Петрович, видимо, утомленный ходьбой, отделился и пошел в сторону бульвара.

— Токарь наш, — сообщил Тимка, — на арматурном[2] работает. Мастер на весь завод, самый настоящий.

Митька слышал плохо, его одолевали свои мысли.

— Мне бы к вам, — мечтательно проговорил он, поглядывая вслед Петровичу.

— Вот бы, — живо подхватил Тимка, — если попросить, а?

— Кого просить? Некому хлопотать за меня.

Тимка поскреб за ухом, остановился, поковырял носком сапога в пыли, вывел вензель и решительно сказал:

— Пойдем к Петровичу.

— Без толку, — усомнился Митька.

— Ничего не без толку, — возьмется, дак уж... Мужик — копье, я знаю.

Митька согласился.

Петровича отыскали на бульваре.

Сидя на скамье, он с видимым наслаждением выставил лысину под солнце и, посасывая трубку, пускал через усы тонкие струйки махорочного дыма.

Кругом, под наблюдением матерей, расползалась детвора и, звонко талалакая на своем непонятном мелко-крошенном наречии, деловито посапывая, ковырялась в песочных кучах.

— Вы что прилетели? — встретил Петрович ребят.

Тимка сел рядом, обмахнул потное лицо кепкой.

— Митька, обсказывай.

Небольшая мудрость обсказать. И глаза у Петровича такие — выкупаться можно, оттуда огоньки приветливые, зовут они подойти, что-то в них знакомое и близкое.

Робко и нескладно, потом все бойчее и уверенней Митька начал говорить.

Вспомнил отца, но это так давно, что в памяти удержалась только худая заморенная тень рабочего: за копотью и сажей не разобрать лица.

Митьке тогда пять лет было. Он не спрашивал, отчего это однажды голосила мать и почему отец не приходил больше с завода никогда. Очень нужно, если в то время Митька захлебывался от удовольствия, отыскивая в мусорных кучах задворок диковинные вещи, и с таким же удовольствием дрался вдребезги с товарищами при дележе этих штучек.

---

[1] Барахолка — толкучий рынок.

[2] Арматурный токарный станок мелких машинных частей.

Пришло время, и вот Митька огляделся сознательно и по-настоящему, — увидел кругом, красного кирпича, стены заводов, принюхался к нефти, услышал тяжелое пыхтенье машин, звон молотков и пошел...

Его прогнали — так не раз было; теперь он большой и хочет пойти опять туда, там товарищи, а у купца обидно, и базар ему непривычный и чужой.

— Так, так, значит, учиться хочешь? — тоненько посвистывая чубуком, спрашивал Петрович. — Тут, брат, заковыка, это в ячейку надо: как коллектив, опять же администрация.

— Ячейка если, она может, — уверенно заключил Тимка, — ты обладь, Петрович.

— Вот как я скажу, — объявил, наконец, Петрович, поднимаясь и проводя ладонью по вспотевшей лысине. — Толковать тут нечего, в среду собранье будет; может, и определим, потому теперь ход вам, время такое, дуй до горы, как говорится...

Слушает Митька Сердце во всю барабанит, мысли одна за другой.

„Вдруг поступлю? Эх, Звякина тогда к чертям, Вальке фигу с мигой, совсем хорошо будет."

Счастливый день первого мая, определенно, даже Гоголь с верхушки памятника, прицелившись носом на ребят, силится разомкнуть бронзовый рот в веселую, весеннюю улыбку.

Завод всей тяжестью стен оседает на берег реки.

С другой стороны он отчетливо виден в синеватой воде, перевернулся там красной крышей вниз, как будто его проткнули сквозь узкую береговую полосу земли.

В ряби волн дрожат стены как огромные полотна и грозят разбежаться во все стороны; трубы танцуют на месте и гнутся.

Митька переходит мост.

Завод выполз на берег и стоит как ни в чем не бывало, играя в свете утра мелкими переплетами оконных стекол.

Митька — работник по всей форме: блуза у ворота настежь, грудь навынос. Он идет через проходную будку в большой двор, заваленный обрезками ржавого железа, частями расклепанных паровых котлов, вагонетками и штабелями дымогарных труб. Задерживается на минуту около ворот мастерской, бегает глазами по стенной газете: „Стальной Путь".

— Ага, напечатали. Как раз в самом центре: наковальня, у наковальни рабочий, а внизу:

„Вот рука, она в мозолях,
Жестко-грубая, в узлах,
Создает, творит и строит
Каждый взмах".

„Каждый взмах". Рука описывает круг. Улыбаясь читает до конца.

Подпись крупная и разгонистая: Дм. Баврин.

Ныряет к двери.

Механическая мастерская огромна — целый час глазами плутать будешь, всего не оглядишь. В три линии токарные станки, в центре четыре лобовых[1], дальше за ними стоят, изогнув длинные чугунные шеи, сверлильные, тут же по сторонам около стен продольные строгальные и торопливые кургузые шеппинги[2]; по углам пристроились совсем незаметные фрезерные.

Утром после первого гудка сходятся рабочие; в мастерской тихо. В высокие окна заглянули солнечные лучи, они ощупью пробираются между обвисших ремней, лижут холодный чугун станин, тычатся в углы. Вся мастерская принимает праздничный, веселый вид. Дежурные сторожа вымели сор и железные стружки.

Гулко шаркают каблуки сапог о серый, в масляных пятнах, асфальтовый пол.

Все молчит в настороженной неподвижности; в открытые фортки вползает скомканный глухой шум города.

Тоненько пахнет керосином и невидной струйкой пара из машинного отделения.

До начала работ полчаса.

Митька достает из шкафа горсточку концов, протирает все части самоточки, вертит ручки суппорта и каретки, смазывает водящий винт и пересматривает резцы, а в голове недавнее:

— „Охлопотал Петрович."

После встречи через неделю прибежал Тимка возбужденный, запыхавшийся.

— Здраствуй, тетка Настя. Вот, говорил я: поступит — и поступит. Беги за Митькой.

Настасья Егоровна схватила дырявый свой платок и забегала, засовалась.

— Ты что, Тимоша, да неужто так?

— А то как? — Тимка крутнулся около стола волчком и хлопнул себя по лбу:

— Вот она, варит как надо. Петрович прямо сказал: „Я его к себе к станку." Ячейка тоже — принять. Протокол — и кончено.

---

[1] Лобовой — токарный станок для крупных частей машин.

[2] Шеппинги — поперечные строгальные станки.

Митька даже не сказался Звякину. Дома был прежде, чем успела вернуться мать. Схватил Тимку, так зажал голову товарища, что тот не устоял; хлопнулись оба на пол и расхохотались.

— Ловко, Митяй, а?

— Тим-дар-рам, тим-дар-рам, — надув щеки, запел Митька вместо ответа.

— Сегодня у тебя ночую, — заявил Тимка, — завтра вместе чтоб, в семь по гудку, понял?

„По гудку...“

Второй месяц ходит Митька под эту горластую музыку. Он привык и огляделся. Знает, что как; только минутная стрелка часов пробежит полкруга к восьми, рванет короткая, широкая пасть гудка, и все, что сейчас притихло и кажется мертвым, оживет, двинется с визгом, грохотом и треском: ремни, свистя и щелкая, побегут бесконечной дорогой по блестящим шкивам. Острые резцы, завивая стружку, будут грызть ржавое тело железа, и на глазах Митьки из бесформенных кусков металла выйдут полированные части будущих машин, чтобы двигать и вертеть потом быстрые сильные станки.

Митька, закончив чистку, бежит взглядом по рядам станков. Ремни уходят высоко под потолок, туда, где кронштейны крепкой хваткой подшипников держат валы трансмиссий.

Чувствует, как в груди начинает расти и ширится подмывающая, какая-то особая, щекочущая радость.

Так было не раз, началось это с того времени, как поступил на завод.

Крики гудков, движение машин, удары молота, брызги раскаленного железа. Все это пело в сердце как торжественный хор и просилось наружу.

И вот случилось: в тихий летний вечер, небо, сползая вниз, бесшумно падает на искорки золотистых звезд, оглядывая землю.

Митька, притулившись у окна, записывает все, что накопилось за день, и не знает он, откуда идут слова, складываясь в песни.

И сейчас, опершись на станину, Митька торопится до начала работ исправить написанное за вечер, чтобы отнести потом в стенгазету.

Он увлекается, напевает, отбивая ногой такт.

„Лес высоких труб фабричных,
Звон веселый молотков,
Миллионы рук привычных
Выбивают: Будь готов. — Всегда готов.“

Позади стоит пришедший Петрович. По обыкновению посасывая короткую трубочку, он долго смотрит через плечо ученика, трубка переползает в левый угол рта.

— Молодец, складно пишешь. Где это ты навострился?

— Я сам.

Петрович удивленно дергает бровью: — гвоздь парень.

— Ну, ладно, дописывай, друг, сейчас ходу пароходу, шток [1] выверять будем. Видишь, сколько работы подна-перло?

Петрович приходит всегда аккуратно; по его приходу часы выверять можно.

Митька оторвался, сунул бумажку в нагрудный карман блузы, и тут же, отдаваясь звоном в стеклах оконных рам, рявкнул гудок.

— Вжжзннн, — запел мотор.

Дрогнуло внутри каменных стен завода, и побежали, сплетаясь, приводные ремни.

Старый токарь Петрович говорит мало; он молча сутулится у станка и внимательно смотрит, как острое жало резца, проходя справа налево, оставляет за собой мелкие блестящие риски [2].

Вал, поставленный в центрах, делает не больше тридцати оборотов в минуту, каретка движется совсем незаметно для глаз, шестерни перебора, укладываясь в разрезы зубьев, хлопотливо переговариваются: грр, брр, грр, брр...

Грохот, свист ремней, крики рабочих — все это привычно для слуха, как тягучая однообразная песнь, и совсем не тревожит Петровича.

Опершись на суппорт, он, кажется, дремлет, и только рука, промеряющая кронциркулем толщину вала, дает знать, что опытный мастер следит за ходом станка, но усталость уже виснет на старых плечах и сгибает широкую спину...

Митьке шестнадцатый, комсомолец-активист — куда надо. Это ему кричат:

— Митька, сегодня редколлегия?

— Митька, в культкомиссию!

В семь с половиной утра у станка, вечером наскоро пожует, глотнет стакан чаю и в клуб до двенадцати.

В работе лето птицей из клетки выскочило, поплакала осень в печали голой, а к концу ноября по пушистым сугробам скакал молодой, в синих алмазах, мороз.

В январе Митька получал оклад по шестому разряду.

Вспомнил давнишнее свое обещание, и в жалованье принес матери настоящие опойковые башмаки.

Сделал важное лицо и как тогда, полтора года назад, расшаркался, брякнув о стол покупкой.

---

1 Шток — вал поршня.

2 Риски — след резца.

— Позвольте приподнести, Настасья Егоровна.

По выцветшему, худому лицу женщины пробежала улыбка.

— Мне? Ах, ты, да как же? Да уж больно хорошие, куда мне!

— Ничего, мать, ты у меня тоже хорошая.

Митька притянул седеющую голову матери и, улыбаясь, потрепал по плечу.

— Давай-ка, обнову вспрыснем, где у тебя чайник? Мы сейчас изобразим.

Митька, весело посвистывая, разложил купленные закуски и, подмигнув матери, добавил:

— Вот ведь, как наши. А это билет тебе в клуб, на спектакль. Я стихи читать буду...

Вечером шли: Настасья Егоровна, поскрипывая новыми башмаками, торопилась позади и что-то шептала, улыбаясь поглядывая на крепкую фигуру шагавшего впереди сына.

В свете ярких огней клубной сцены, Митька, после спектакля, читал стихи.

В новой синей блузе, с высоко поднятой головой, он, казалось, не видел перед собой зрителей.

Слова отчетливо и звонко летели в зал.

„Шагай вперед, навстречу жизни новой,
Не бойся трудностей, преграды разрушай.
Закалены товарищи в борьбе суровой.
Еще не пройден путь. Шагай...“
. . . . . .

На другой день пел знакомую песню мотор, за стеной глухо охала машина.

Петрович говорил:

— Работай, брат, теперь ты на пути. Я отойду, износился, довольно с меня. Станок тебе уступаю; тридцать лет работал на нем.

Старик улыбается одновременно молчаливому станку и Митьке. Ладонью широкой и шершавой хлопает по чугунной блестящей станине, дым трубки вплетается в струи солнца [1].

1926. Г. Никифоров.

---

[1] Из повести „На пути“ (в сборнике того же имени, изд. „Прибой“ 1926 г.).

23. Цемент.

Расплата.

... Глеб стоял на площадке вышки, паутинно сплетенной из стальных полос. Когда-то отсюда подавался уголь в вагонетках в машинное отделение: вагонетки спускались по лифту в черную пропасть колодца и по тоннелям канатной тягой отправлялись по рельсам к машинным корпусам. Теперь вышка была пуста, и за парапетом, в центре, бездонной тьмою зияло хайло провала.

До боли в пальцах он сжимал железные прутья барьера и смотрел на железобетонные пузыри корпусов, на пятидесятисаженные трубы, улетающие к звездам, на звенящие струны канатов с застрявшими вагонетками, и молол челюстями до скрипа в зубах.

... Завод грохотал огненным адом. Дрожала земля от бешенства машин, а воздух горящими стружками брызгал от пламенных окон, от ослепительных вспышек вращающихся печей, от бесчисленных лиловых лун и динамитных взрывов горных массивов. Там, в бухте, у пирсов, стояли океанские корабли и бездонными утробами поглощали миллионы тонн свежего цемента. И с завода на пирсы, и с пирсов на завод летающими черепахами, со свистом и сиренным воем, вереницами реяли в воздухе вагонетки. Тысячи рабочих, как полчища чертей, горели в огне, дробили горы в щебень и пыль, дни зажигали серой и каменной гарью, а ночи пожарами окон и полыхающим пламенем.

Это было в прошлом. А теперь — тишина и великое кладбище. Травой заросли бремсберги, стальные пути и дороги к заводу. Ржа покрыла коростой металл, и упругие железобетонные стены зданий изранены проломами и размывами горных потоков.

Инженер Клейст шел медленно, часто останавливался и смотрел на многоэтажные кубы строений, как на гробницы минувшей эпохи. Смотрел и думал. Шел, останавливался и думал.

Глеб перегнулся через перила и пристально вглядывался в размытую тень инженера Клейста.

Вот человек, которого он с наслаждением мог бы задушить этими руками в любой час, и этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он однажды в мстительной злобе отдал его на истязания и смерть офицерской ораве. И этого дня не забыть Глебу никогда, во веки веков...

... Рабочих завода выстроили на шоссе, перед зданием конторы (осталось немного: многие скрылись, многие ушли с Красной армией). Он и еще трое товарищей на успели

бежать — застряли в уличных боях. Один из толпы офицеров, с нагайкой, — по бумажке называл фамилии. Нагайкой бил поодиночке и передавал другим офицерам. И те били — били нагайками и ручками револьверов. Смутно, скользом сознания, отметил Глеб надрывные крики рабочих — тех, что стояли в рядах. Были ли это крики протеста, избивали ли их офицеры — не мог понять Глеб и только сквозь кровавые слезы на один момент увидел, как они разбегались в разные стороны, и за ними гнались с нагайками и револьверами офицеры. И когда приволокли их, четверых, с кровавым месивом в лицах, в рабочую комнату инженера Клейста, он долго смотрел на них, бледный, с трясущейся челюстью. Что-то вперебой по-армейски говорили ему офицеры, а он, потрясенный и притворно-холодный, молчал. Смотрел пристально на Глеба и молчал, и в глазах его видел Глеб брезгливое сострадание. И потом сказал тихо, с квакающей хрипотой в горле:

— Да, это — он... И эти... Да, да... те самые...

— Больше ничего не скажете, господин Клейст?

— Дальнейший ход действий — не в моей воле, господа: это дело — уже вашего усмотрения.

Их бросили в пустой лабаз и били до глубокой ночи. В прорывах сознания чувствовал Глеб удары — и легкие, далекие, не доходящие до боли, и огромные, потрясающие, разрывающие его по частям. Но и эти удары были безбольны и странно-ненужны: точно он был замурован в бочке, и кто-то бесцельно и озорно бухал ногами в ее барабанные стенки.

А когда он очнулся, была черная тишина. Он заползал, очумелый и не добитый, по лабазу. Наткнулся на склизкие от крови тела товарищей, Они были дрябло-холодны и пахли кишками и кровью. Ползая вдоль стен, он нашел широкую отдушину и вылез наружу. Спрятанный ночью и кустами, он дополз до дома, и больше его с тех пор не видел никто.

Этого не забыть никогда, во веки веков...

Вспомнил это Глеб и днем, когда был в комнате инженера Клейста, вспомнил и сейчас, смотря на него, блуждающего обреченной тенью по широкой площадке.

— Добрый вечер, товарищ технорук!.. Чем наше кладбище — не знаменитое? Много великих кладбищ по Республике, а кто нас может перещеголять?..

Инженер Клейст остановился и окоченел, но быстро оправился и стал всматриваться не в Глеба, а в черный пролом окон машинного корпуса.

Этот человек — вездесущ. Он не преследует его, а стоит на пути и потрясает его, как кошмар. Надежные паутины его мира были разорваны, и полотен других паутин не соткать: невозможно уже уйти от шлема и силы этого чело-

века. С какого часа взял он над ним страшную власть? В былые дни этот рабочий растворен был в массе синих масляных блуз без своего лица и голоса и незаметно, как все, выполнял положенный труд — мельчайший элемент в могучем и сложном процессе производства. Почему теперь он, инженер Клейст, властный и сильный когда-то, уже не может ничего противопоставить грубой и дикой мощи этого человека? Где начальный толчок этого сдвига: тот ли момент, когда он отдал его на уничтожение, или сегодняшний час, когда он увидел его в своем рабочем кабинете, воскресшим из прошлого?

Просто, как удар: то ожидаемое, которым он жил этот день, пришло и открывается перед ним узкой бездонной пропастью.

— Поднимитесь сюда, товарищ технорук: сверху могила — глубже... Бродите вы, брожу и я... каждый день... А что толку?.. Будьте любезны подняться, товарищ технорук.

С тошнотной болью в области сердца, весь растворенный в ужасе, инженер Клейст (время клубилось удушливой тьмой) долго взбирался по звонко дрожащей лестнице и в обреченности своей сохранял привычную важность и молчаливое спокойствие.

— Берегитесь, товарищ технорук: тут — бездонная утроба, будь она проклята... Дрызнешь и — вдребезги... Понастроили вы чортовых дыр... Это — ваша работа...

Инженер Клейст ответил холодно и строго:

— Мы строили на века — крепко и разумно. А вы превратили все в хаос и развалины.

— Ну, и дали ошибку, товарищ технорук: громоздили, громоздили — все для себя... непобедимую крепость... а оно не выдержало и — грохнулось. Грош цена вашему разуму... Где ваши эти нерушимые века?

Пыхая трубкой, Глеб казался огромным, чугунным в сумеречной мгле. И оттого, что он был спокоен и прост и так примитивно значителен в своих словах, инженер Клейст почувствовал, что он уже не может уйти от этого человека, и грядущие минуты растворены в одном только коротком взмахе его руки. Парализованный, инженер Клейст стоял, прямо опираясь на парапет спиною, и голова его подбрасывала шляпу редкими срывными толчками.

— А, между прочим, поглядите на завод, товарищ технорук: какой богатырь и красавец!.. Оживить это кладбище... зажечь огнем и заиграть музыкой на всех проводах и канатах... Великое чудо, это строительство!..

С привычным военным выгибом груди, вцепившись в железо барьера, Глеб долго смотрел на черные глыбы корпусов, подавленный их массивным величием и глубинным

молчанием. Кости ли заскрипели под его гимнастеркой, или челюсти сорвались зубами на скрежет, инженер Клейст услышал нутряной стонущий вздох:

— Могила... братское кладбище, будь ты трижды проклято!..

Почему стоит здесь этот мосластый инженер с прыгающей шляпой? Почему он молчит так замкнуто и обреченно? В нем есть что-то общее с заводом — гнетущее и жуткое. А прошлое — это его муки, муки и смерть товарищей. Этого не забыть никогда. Смахнуть его вверх тормашками в бездонную пропасть... Две туго натянутых канатных струны взлетают под крышу, к электромоторам. Это — змеиные языки, а голодное хайло просит жертвенной пищи.

Скользом взглянул на него Глеб и не почувствовал мстительной боли.

— Так-то, товарищ технорук!.. Здорово вы насобачились строить памятники. Когда умрете, для вас приготовлена могила: видите эту дыру?.. Спустим вас на вагонетке и упрячем под самой высокой трубой...

Теряя сознание, инженер Клейст выпрямился и оторвался от барьера. Ныли внутренности и мучительно растворялись в холодной влажной пустоте. Животный крик застрял в горле хриплым, задавленным стоном: челюсти спаялись в одну костную массу до жгучей визгливой боли в мозгу.

— Вы... вы, Чумалов... ради бога... делайте скорее, что нужно...

Глеб вплотную подошел к инженеру Клейсту и весь налился напряжением и жаром.

— Товарищ технорук... будет валять дурака!.. Головы нужны... руки нужны... Разогреть и грянуть!.. Уголь и нефть... Тепло и хлеб рабочим... Экономический подъем Республики... За горами — великие бунты дров в лесосеках... Не лошадиной силой, а механизмом завода... И тысячи — миллионы кубов... Вагоны на территорию... воскресники... Тысячи мускулистых рук и спин...

Он вцепился в плечи инженера Клейста и тряхнул его в радостном порыве, и в его руках инженер Клейст болтнулся чучелом. Шляпа свалилась с головы и ночной птицей закувыркалась вниз, во тьму.

— Шабаш, товарищ технорук! Мы вас возьмем в хорошую упряжку. Мы крепко доказали нашу силу. Ваши мозги и руки — золото. Такой строитель, как вы, — великий спец Республики...

В последней изнурительной борьбе за жизнь нутром понял инженер Клейст, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясаю-

щего события — стоял, странно пустой, обнаженный, с одним рвущимся сердцем.

Глеб ударил кулаком по железным перилам, и переплеты полос грохнули звоном и рокотом.

— Ну-с, берите мозги ваши в руки, товарищ технорук, и приступайте к работе... Не таких еще великанов понастроим, как эти... Новый мир, товарищ технорук...

Инженер Клейст сутуло семенил и ловил дрожащей рукою воздух между собою и Глебом. Потом ослабел и размяк.

Глеб крякнул и забрякал ботами по железным настилкам.

Волны.

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьин, члены завкома, и инженер Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями — там, всюду, насколько охватывал глаз. Они были там, а он — здесь.

Тут, у самого основания вышки, длинной полосой — и вправо и влево — кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами в железных переплетах: знамя ячейки льется с барьера, сейчас же от Глеба, вниз и густо каплет кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоят Бадьин и Жидкий, — другое знамя — профсоюза строительных рабочих. И под парапетом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

„Мы победили на фронте гражданской войны."

„Мы победим и на хозяйственном фронте."

Головы и плечи кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и сизыми лицами, картузами и кепками, и всюду — и там и там — красными крыльями взмахивают плакаты. За ними не видно толп, а над ними, дальше, — опять толпы в движении и зыби. Над самым обрывом, на скале — опять такие же толпы, и опять — знамена и плакаты. Они колышутся в водоворотах, по ребру и скатам горы — выше, выше, а там — опять знамена и плакаты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья, все еще текут бесконечные толпы. Там, далеко, музыка играет марш, а тут — нутряной животный гул, и дизеля грохочут и лязгают металлом. Гула и воя толп нельзя отделить от грохота машин. Брынза — прав: машины и люди, это — одно. Массы не могут молчать. Массы живут особой жизнью от единиц: они — в постоянном напряженном движении и всегда готовы к взрыву.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и ма-

ревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там фырчал и пел мотором невидимый аэроплан, и шелковые нити паутин плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб до боли в суставах сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Сердце надувалось кровью и заполняло всю грудь до удушья. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они где — не меньше чем за версту, на горе — растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше. Так можно засыпать человеческим массивом всю гору до самой вершины...

Вон, недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он. Давно ли это было? А теперь вот он здесь: опять рабочий завода, да в придачу — в головке партийной братвы. Завод! Сколько положено сил, сколько было борьбы! Вот он, завод — богатырь и красавец. Был он недавно мертвец — чортова свалка, развалина, крысиное гнездо. А теперь — грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, курлыкают ролами бремсберги и звенят вагонетками. И завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная цистерна вращающейся печи, а вон из этой страшенной трубы заклубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы все эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Он. . Что он, Глеб, среди этого людного моря? Не море, а живая гора — камни, воскресшие людом... Ух, какая силища!.. Это — те, кто с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город — в дровах, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго. Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?..

В глубинах толп — грохот машин и далекий вой ветра в горах: это — топотала толпа, и песни — и тут и там — вперехлест, вперебой, без напева, без слов.

— Чумалов!..

Инженер Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, в старческой седине, с сухими глазами, глубоко запавшими под надбровницы.

— Чумалов, я никогда не испытывал ничего подобного в жизни. Нужно очень много сил, чтобы перенести это...

Глеб взял его под руку и не знал, кто дрожит: он или инженер Клейст.

— Герман Германович, нас нельзя победить.. Глядите... Этого не забудешь никогда... Сейчас будем чествовать вас, как героя труда..

Инженер Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, подрыгивая шляпой.

Толпы упруго волновались, текли внутри извилистыми струями, сбивались в плотные кучи. Колыхались и вздрагивали знамена и плакаты. Взрывы хохота потрясали воздух животным ревом, и под ногами Глеба дрожала досчатая настилка. Разрывалась гуща голов пыльными яминами, в пьяном веселье прыгали картузы и красные повязки. Пляс под всплески ладошек и визгливый речитатив. Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы...

.. Жидкий стоял перед Глебом и раздувал ноздри от скрытого смеха...

— Ты что? оглох, что ли?

И потащил его к парапету.

Долго утрясались толпы, долго таяли утихающей зыбью рокот и гул голосов, замолкали песни и оркестры, и все эти несметные массы потекли с дальных склонов головами и знаменами, в водоворотах и вихрях.

Говорил Бадьин — говорил долго, всеми легкими, всем телом.

Разве можно выразить, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника. Тут было, что надо: и советская власть, и новая экономическая политика, и хозяйственное строительство, и товарищ Ленин, и Российская коммунистическая партия, и рабочий класс... А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ... И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте — победа огромная, нечеловеческая — это пуск нашего завода, этого гиганта Республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась наша борьба. Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстроя не выпускали из рук молотов и удар за ударом ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения. Завод — на ходу. Завод готов к работе на полный размах. С этого дня, четвертой годовщины Октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он — такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба, на вышку, на заводские корпуса. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Пройдет мгновение — и она грохнется, как игрушка, взлетит на воздух и будет прыгать над морем голов, над знаменами, в волнах человеческого содома. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, непонятные самому, задыхался, махал руками и неудержимо смеялся не нутром, а одною судорогой в лице.

— Говори... твое слово... Режь!..

Зачем говорить, когда все ясно без слов? Ему ничего не надо. Что его жизнь, когда она — пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь, глупы и ничтожны? Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих грохочущих масс...

Тряслась челюсть, и зубы выбивали дробь. Ослепли глаза, и толпы запылали огненной вьюгой.

— Ну, говори же!.. Дрызгай с места в карьер!..

И не помнил, что говорил, и будто не говорил, а бормотал бессвязную, жалкую чепуху. Но его голос слышали даже дальние толпы на взгорье.

— ... И не барахолить словами, товарищи... не трепать языком... крепко поставить на плечи башку, а руками держать дело за ребро... Вот как надо ставить вопрос. Это — не заслуга, когда мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Мы — все... единым духом... Если я — герой, так все же герои... А если мы не натянем кишки до геройства, так всех же нас к чортовой матери — по шеям с колокольни. Но скажу одно, товарищи: мы сделаем все, создадим все и дадим мы, будь оно проклято, кому надо, сорок очков вперед... А вот если бы нам побольше таких техноруков, как наш инженер Клейст, да еще кой-чего немножко, так мы бы в два счета покрыли на ять всю Европу... Это будет, товарищи... это должно быть!.. мы ставили ставку на кровь и своею кровью зажгли весь мир... Теперь, закаленные в огне, мы ставим ставку на труд... Наши мозги и руки дрожат... не от натуги, а требуют новой работы... Мы строим социализм, товарищи, и свою, пролетарскую, культуру... К победе, товарищи!..

Опять гора осела грохотом и взорвалась ревом и медью оркестров.

Глеб помнил, будто сквозь сон, как схватил красный флаг и взмахнул им над толпою три раза. И сразу же охнули горы, и воздух вихрем заклубился в металлическом вое. Ревели гудки — один, два, три... — вместе, разноголосо, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели,

а горы, скалы, толпы, корпуса и трубы. И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь под вышкой, там на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена, и оркестры звенели колоколами.

Ф. Гладков.

(Из романа „Цемент".)
1923—1925.

1, В каких отношениях находились инженер Клейст и Глеб Чумалов? Соберите все указания и восстановите их прошлое.

2. Разберитесь в переживаниях, какие испытывали Клейст и Чумалов при настоящей встрече (первая глава).

3. Как расплатился за прошлое Глеб Чумалов и почему так?

4. Какая идея направляет все поведение Глеба Чумалова?

5. Сопоставьте картины завода, представленные в обеих главах.

6. Определите все созидательные силы, которые оживили заводское кладбище (с этой точки зрения проанализируйте речи Бадьина и Чумалова).

7. К какой „победе" звал товарищей Глеб?

---

1. Выделите все речи Глеба Чумалова и проанализируйте их со стороны построения. Что характерного для Глеба в его манере говорить? Сравните его манеру речи с речью Бадьина: какая из них сильнее и почему?

2. Много ли говорит инженер Клейст? Проследите все его переживания и какими средствами (приемами) писатель их выражает.

---

24. Среди цементников.

В залитом огнями нардоме сегодня особенно многолюдно. Среди местных цементников мелькают цементники Ростова, Гайдука, Тоннельной. Немало пришло и гостей: работниц, рабочих и служащих...

Так репортер новороссийской газеты начинает свой отчет о первой краевой производственной конференции цементников в Новороссийске, в том самом Новороссийске, где герой романа „Цемент" Глеб Чумалов еще так недавно, всего несколько лет назад, героическими усилиями вдохнул жизнь в замерший цементный завод.

И вот сегодня Глеб Чумалов на трибуне краевой производственной конференции цементников. Он делает доклад о достижениях тысяч Глебов Чумаловых Новороссийска, Ростова, Гайдука и Тоннельной, героическими усилиями которых со времени ликвидации гражданской войны восстановлено на Северном Кавказе восемь цементных заводов, дающих Советскому Союзу ежегодно миллионы бочек цемента для строительства.

Доклад Глеба Чумалова сух и деловит. Без напыщенных фраз, без риторики. Цифры и факты. Цифры и факты

Мы восстановили восемь заводов, на которых работает свыше $5^1/_2$ тысяч рабочих.

Растет производство: годовая продукция в 1925—26 году выразилась в 2.689 тысячах бочек цемента и 12.677 тысячах плиток экстернита против 1.442 тысяч бочек цемента и 6.462 тысяч плиток экстернита в прошлом году.

Растет количество рабочих: в 1924—25 году их было 3.297, ныне 5.577.

Растет производительность труда: в этом году она выросла по отдельным заводам от 8 до 24 процентов.

Растет заработная плата: в нынешнем году она выросла в среднем на 15 проц.

Растет производственная программа: на 1926—1927 год она выросла свыше чем на 40 процентов.

Растет строительство заводов и рабочих жилищ: на заводское строительство израсходовано 1.700 тысяч рублей, на жилстроительство 600 тысяч рублей. К 1 января 1927 г. увеличение жилплощади для рабочих достигнет 10 тысяч кв. метров. На капитальное же строительство в 1926—27 году будет израсходовано около 3.700 тысяч рублей.

Растет профтехническое образование: функционируют техникум цементного производства, школы фабзавуча, курсы мастеров, бригадное ученичество.

И в заключение:

Цементная промышленность приобретает колоссальное значение. Расширяется строительство в СССР, и цементники должны своевременно приготовиться.

А потом заговорили Глебы Чумаловы с заводов.

Они сообщали о недостатках, они говорили о необходимости улучшить качество продукции, наладить взаимоотношения со специалистами.

Но когда Глеб Чумалов стал подводить общие итоги, когда он стал противопоставлять многим недостаткам многие достижения, он твердо и решительно сказал себе, что начатое им после ликвидации гражданской войны дело восстановления цементных заводов растет, ширится и крепнет, что цемент для строительства СССР уже есть, но что вместе с тем нужны еще героические усилия, чтобы изжить все недостатки в цементной промышленности.

Глеб Чумалов крепко верит, что он изживет и растраты, и слабое качество продукции, и трения со спецами.

Ибо Глеб Чумалов уже изживает это [1]...

Гр. Львович.

---

1. Какое применение получил образ Чумалова в современной жизни?
2. Припомните случаи подобного применения образов „Ревизора".

---

[1] „Известия ВЦИК" 12 дек. 1926 г.

25. Проза и поэзия.

(Проработка темы.)

Припомните сопоставление «Дедушки» Некрасова и рассказа декабриста Розена; описания наводнения у Пушкина, Булгарина и наших современников (1924 г.); анекдот, рассказанный Гоголю, и Гоголевскую «Шинель»; Глеба Чумалова в «Цементе» и в газетной статье Львовича — и постарайтесь возможно точнее сформулировать различие между прозаическим и поэтическим произведением:

1. Где преобладает образ-картина, где точное знание-понятие?
2. Какое из них преимущественно вызывает работу воображения, чувств, рассудка?
3. Какими средствами языка организуется то и другое?
4. Что заставляет поэта в его произведении изменять действительность?
5. Как создается и какое имеет значение художественный тип?
6. Как художественное произведение организует сознание читателей?
7. С какими поэтическими формами вы встречались? В чем их существенные отличия (эпос, лирика, драма)?

---

26. Завод.

Полгода, скованный покоем
И холодом бетонных стен,
Молчал с глубокою тоскою
Над ржавчиной железных тел.

В тумане дней тревожных брошен,
Застыл, подслушивая, как
Октябрь промокшею подошвой
Волочился на площадях.

И дни брели глухой походкой
По настороженной земле.
Манометр цепенел над топкой
На холодеющем нуле.

Лишь тишь машин, заводской глушью
Прохаживаясь неспеша,
Будили стуком колотушек
Полуночные сторожа.

Зимой же вьюга, снежным комом
В забитые ходы стуча,
Рвала приказы Военкома
С морщинистого кирпича.

Стоял суровый, многодумный,
Покорный году, нем и глух...
Все чаще над станком бесшумным
Стальные сети вил паук.

И вот, однажды, в день весенний,
Запоры сбросила рука,
И, с свистом взвит, приводы вспенил
Победный бег маховика.

Полгода голодом и мором
Был обессилен, мертв и... вдруг —

Гудят моторы за мотором
Под взмахами сердец и рук.

Вновь огневые рельсы режут
Зубами пил и там и тут,
И там и тут под крик и скрежет
В поту, в чаду, куют, куют...

Чугунные дрожат стропилы...
Был с каждым взмахом крепче взмах,
И о победе пели пилы,
И над вагранками меха
Поддакивали впопыхах...

Вновь полон неустанным звоном,
Над знойным гулом площадей
И над вздымающим бетоном
Был улыбающийся день..

Раскованный рукою жаркой,
Завод, сжигая немощь лет,
Встал, торжествующий и яркий,
Весенним солнцем на земле...

С. Обрадович.

---

27. Работа.

Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом:
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета,
Часы за упорным трудом;

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин и колес, и ремней,
Заполни, с лицом непреклонным,
Свой день, в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль, согнут над чистой страницей,
Что думы диктуют, пиши:
Пусть небо зажжется денницей,
Всю ночь выводи вереницей
Заветные тени души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов

Великая радость—работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли — за трудом.

В. Брюсов.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 3

Отдел I. Город.

1. Садко богатый гость — былина 7
2. Василий Буслаев — былина 13
3. Новгород — из „Русской истории“ М. Н. Покровского 17
4. Утро народной поэзии 20
5. Песня про купца Калашникова — М. Ю. Лермонтова 21
6. Женитьба Ивана Грозного и единоборство Кастрюка — историческая песня 29
7. Медный Всадник — А. С. Пушкина 32
8. Прогулка в Академию Художеств — К. Н. Батюшкова 39
9. Наводнение в С.-Петербурге 7 ноября 1824 г. — В. Берх . . . 40
10. Водная стихия 42
11. Воззвание Ленинградского исполкома 44
12. О погоде — Н. А. Некрасова 45
13. Ревизор — Н. В. Гоголя 50
14. Шинель — Н. В. Гоголя 125
15. Из воспоминаний — П. В. Анненкова 152
16. „Прежде, давно, в лета моей юности“ — Н. В. Гоголя . . . . . —
17. Задание к повести А. С. Пушкина „Станционный смотритель“. 153
18. Проработка понятия о типе. 154
19. Размышления у парадного подъезда — Н. А. Некрасова. 155
20. Бедность не порок — А. Н. Островского 158
21. Темное царство (из IV главы) — Н. А. Добролюбова 201
22. Китай Город — П. Д. Боборыкина 212
23. Городок Окуров — М. Горького 215
24. С высоты — Лозина-Лозинского 220
25. Наш город — проработка темы 221
26. Гавань — М. Горького (из рассказа „Челкаш“) . . . . . —
27. Город — В. Брюсова 223
28. * * * „Давно не видел вас“ — П. Ерошина. . . . . —
29. Главная улица — Д. Бедного. 224
30. Будет радость — А. Самобытника 226

Отдел II. Труд, быт, борьба.

А.

1. Железная дорога — Н. А. Некрасова 229
2. Задания к рассказу А. Серафимовича „Стрелочник“ 233
3. Задания к рассказу А. Серафимовича „Сцепщик“ 234
4. Задание. (Гл. „Детство“ из повести Л. Н. Толстого) . . . . . —

		Стр.
5.	Плач детей — Н. А. Некрасова	234
6.	Задания к рассказу Л. Андреева „Петька на даче“	235
7.	В недрах земли — А. Куприна	236
8.	Задания к рассказу А. Серафимовича „Под праздник“	243
9.	Задания к рассказу Л. Андреева „Гостинец“	244
10.	Задание. (Рассказ Л. Сейфуллиной „Правонарушители“.)	—
11.	К широкой дороге — А. Бибика	245
12.	Новому товарищу—Самобытника	253
13.	„Я полюбил“ — А. Гастева	254
14.	На заводе — И. Логинова	—
15.	Сын завода — Н. Кузнецова	—
16.	Коновалов — М. Горького	255
17.	Дубинушка — Л Трефолева	266
18.	Дубинушка — народная песня	267
19.	Гармонист — В. Казина	—
20.	Задания к рассказу Л. Н. Толстого „Люцерн“	—
21.	* * * — Л. Н. Толстого („Неужели так надо“)	268
22.	Биография писателя — примерный план для доклада	270

Б.

1.	Узник — А. С. Пушкина	272
2.	Задания к поэме М. Ю. Лермонтова „Мцыри“	273
3.	Задание. („Рассказ о кандалах“ Н. Ляшко.)	—
4.	Автобиография — Н. Ляшко	274
5.	В купели чугуна — М. Герасимова	277
6.	Задания к рассказу А. Яковлева „Порывы“	278
7.	Кузнец — В. Александровского	—
8.	Задание. (Гл. „Первое Мая“ — из ром. „Мать“ М. Горького.)	279
9.	Гудки — А. Гастева	—
10.	Дома — А. Серафимовича	280
11.	* * * А. Серафимовича (из рассказа „Похоронный марш“)	283
12.	Дерзости слава — Е. Тарасова	285
13.	Недавние дни — А. Аросева	—
14.	Смерть вождя — Г. Санникова	291
15.	* * * — А. Егоровой	292
16.	Задание. (Рассказ А. Яковлева „Жгель“.)	293
17.	Ручной лебедь — В. Казина	—
18.	Стучу, стучу... — В. Казина	294
19.	Люблю — М. Герасимова	—
20.	Песня маляра — А. Жарова	—
21.	Марш — А. Жарова	295
22.	На пути — Г. Никифорова	—
23.	Цемент (две главы) — Ф. Гладкова	303
24.	Среди цементников — Гр. Львовича	311
25.	Проза и поэзия. (Проработка темы.)	313
26.	Завод — С. Обрадовича	—
27.	Работа — В. Брюсова	314

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ".
МОСКВА, 19. Воздвиженка, 10.

Баршева М. и Бобынина Ю. Гудки. Рабочая книга для 1-го года обучения. Под редакцией А. И. Радченко. (Печатается.)

Ефремин А. и Кочетов С. Красный сказ. Книга для чтения. 314 стр. Ц. 2 р.

Из предисловия: „Книга предназначена для чтения на уроках родного языка. Конечной целью своей книги мы ставим революционное воспитание на произведениях художественной литературы. В силу этого здесь мы берем такие образцы, на которых лежит яркая печать революционности и пролетарской идеологии".

Медынский Е. и др. Громкая читальня. Подвижная хрестоматия. Пособие для школ II ст. и культ.-просветит. кружков.

Вып. I. В деревне. 537 стр. Ц. 1 р. 85 к.

Вып. II. На фабриках и заводах. 552 стр. Ц. 1 р. 90 к.

Сидоров С., Шапиро А. и Шувалов С. Деловая речь. Сборник материалов и заданий для работы по развитию речи. (Допущено ГУС'ом.) 320 стр. Ц. 2 руб.

Рейтынбарг Д. Организованный труд. Хрестоматия по организации труда для внешкольного чтения (II ступень). (Допущено ГУС'ом и Педагогич. комиссией СовНОТ при НК РКИ СССР). 488 стр. Ц. 2 р. 75 к.

Милькович Н. и Малинко В. Происхождение и развитие животных и человека. Две большие настенные таблицы и об'яснительный текст к ним (40 стр.). I. От простейших до человека. II. Развитие человека. (Допущено ГУС'ом.) Цена 3 р. 75 к.

Райков Б. Практические занятия по зоологии для начинающих. 146 стр. Ц. 1 р.

Содержание: Часть первая. Предварительные указания. Принадлежности для вскрытия и препарирования. Микроскоп, его устройство и обращение с ним. Общие правила при занятиях. Описание практических работ. Часть вторая. Указания к работам для руководителя. Показательное вскрытие. Самостоятельные работы учащихся. Список руководств по практической зоологии.

Кашин Н. и Старцев В. Учебная книга по физике. (Допущено ГУС'ом.)

Часть I. Общие сведения по механике. Состояние вещества. Теплота. 210 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Часть II. Звук. Свет. Электричество. 312 стр. Ц. 2 р.

Гуревич В., Минорский В. и др. Практическое руководство по математике. С задачами и темами для лабораторных работ. (Допущено ГУС'ом.)

Часть I. 295 стр. Ц. 2 руб.

Часть II. 212 стр. Ц. 1 руб. 60 коп.

Никитин А. Новые меры в рисунках, чертежах и упражнениях. (Допущено ГУС'ом. Рекомендовано Центр. Междувед. Метрическ. Комиссией.) 48 стр. Ц. 70 коп.

Коноф Е. Руководство для начального обучения французскому языку. Переработка А. Марти-Солеро. (Допущено ГУС'ом.) 112 стр. Ц. 45 коп.

Шмолл-Бломериус Э. Руководство к изучению немецкого языка для взрослых. (Допущено ГУС'ом.)

Часть I. Формы языка и словообразование.

Часть II. Краткий обзор важнейших форм языка.

Часть III. Словарь. Все три части в одной папке. Цена 2 рубля.

15660

Цена 1 р. 60 к.

РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ

ср 1952
2496